

Анна Мазурова

ТРАНСКРИПТ



Анна Мазурова

Транскрипт

«Водолей»

2014

Мазурова А.

Транскрипт / А. Мазурова — «Водолей», 2014

Анна Мазурова – москвичка, с 1991 года проживающая в США; переводчик-синхронист. Соответственно и роман являет собой историю толмача, сюжетом и формой уже выделившуюся в последние годы в отдельный жанр. Однако в романе речь идёт не об узкопрофессиональной деятельности и даже не о попытке наладить жизнь как переливание меж общающимися сосудами двух разных культур. Перевод с языка на язык оказывается в нём метафорой социальной и творческой реализации: как «перевести» себя на общедоступный язык общества, как вообще «перевести» нематериальный замысел в план реального, и как человеку – любому, не обязательно переводчику, – усиливающему и транслирующему общие мнения через микрофон своей частной и профессиональной жизни, сделаться хотя бы ответственным микрофоном.

© Мазурова А., 2014

© Водолей, 2014

Содержание

От автора	5
1	8
2	18
3	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Анна Мазурова

Транскрипт

От автора



Родившись в 1965 году в Москве и окончив институт иностранных языков в 87-м, я пребывала в скверном настроении в Нью-Йорке 91-го, когда одна американка польского происхождения, видно желая подбодрить и одновременно поставить на место, сказала: «А ты потерпи. Всем начинать очень трудно. Дедушка мой, например, впервые в жизни надел ботинки, когда его сюда привезли семилетним мальчиком». И, задыхаясь от чванства, я подумала: удобно иметь таких дедушек, чтоб без ботинок. А если в ботинках? В университет физике учиться – в ботинках, потом в театр оперу слушать – и снова в ботинках. Куда его деть, такого-то дедушку, чтоб быть счастливой?

И вот прошло много лет. Тяжёлым, но радостным, разнообразным трудом переводчика в ООН, в Госдепартаменте, Библиотеке Конгресса, банках, судах, на производствах, военных базах и очистных сооружениях я уже почти заработала на ботинки, вышла замуж, родила детей – двоих, Нику и Матвейку. Приехал мой папа и стал объяснять им, какая замечательная вещь – школьная библиотека.

– Я, – сказал он, – в своё время от библиотеки даже забыл, что я без ботинок, хотя вообще-то стеснялся.

– Что?! – вскричала я.

– Ну да, надо идти в первый класс, а ботинок-то нет.

Пошёл так. Первого сентября говорят: мальчик, в школе нельзя босиком. Мать мне сшила из тряпочки белые тапочки. То есть, до школы я шёл босиком, а то бы они истрепались, а там надевал и ужасно боялся, что в таких тапочках будут дразнить, почему-то, девчонкой. Но речь не об этом, а о библиотеке. Помню... в доме книжек было мало, ну там – полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Достоевского. Детских книжек не было вообще, Робинзон только Крузо, и к первому классу я всё прочитал раз по тридцать. То есть, я ничего не хочу сказать: «Вий» мне ужасно нравился, «Записки охотника» – бяяша, бяяша, – но если ты всё это знаешь уже наизусть?! И не только там бяшу; к семи-то годам я уж и Достоевского знал наизусть. И вот я обнаружил, что в школе есть библиотека. Мне выдали, как сейчас помню, «Приключения Муравьишки». Я вышел на каменное крыльцо, солнце, тепло, я прямо помню, как было тепло ставить ноги на камень (я тапочки снял и читал). Дочитал, возвращаюсь в библиотеку и говорю, а вы не могли бы мне дать что-нибудь другое? Библиотекарша спрашивает: «Что, мальчик, не понравилась книжка?» – «Да нет, очень понравилась, вы извините, я больше так не буду, но я нечаянно всё прочитал». И она поняла, отвела меня в закрома этой библиотеки, и я всё забыл – безотцовщину, голод, ботинки, – я рылся и был окончательно счастлив.

Гляжу на грубые ремесла,
Но знаю твердо: мы в раю...

(Здесь и везде цит. по учебнику Кобылевина)

– Среди моих учителей особо хотелось бы отметить двоих. Первый был, тьфу-тьфу чтобы не сглазить, человек тяжелый, мрачный, специалист в области пищевой промышленности, вообще умница. Его уроки шли гораздо дальше, чем разница между йогуртом и кефиром. Главное я постиг не на уроке, а на перемене, в те ужасные часы, когда, стараясь не выдавать отчаяния, объяснял Чебурашку, Будулая, Василия Иваныча, и что рвало на родину, и что их доллары – это наши баксы. На послеконтрактном пиршестве, не меняя ни позы, ни улыбки, одним углом рта он отчеркнул: «Не надо. Толкай меня, когда смеяться». А я и тут еще не понял и в благодарность, заменяя текст, рассказал ему про паром на Феррис Айленд и двух голубей на крыше Центра Мировой торговли. Я так приноровился, что по количеству букв у меня сходилось, как в кроссворде. Мой пищевойк оживал в строго назначенную секунду, будто его действительно толкнули в бок или дернули за веревочку. Пока я вымерял развязки, с меня сошло семь потов, но я искренне гордился их дружным смехом, любовник-инженю совпадением оргазмов. А потом вдруг взглянул на своего специалиста и обмер, как он равноудален сейчас от Мики-Мауса и от Чебурашки. В тот момент, как переводчик и жрец, я раз навсегда усвоил: мое дело курить фимиам, а не вонять над полированным столом паленым рогом подлинной жертвы.

Вторая – министерская дама – сказала: «Да вам не надо этого понимать. Вы просто переводите». Крупная женщина, она попала в этот самый полированный стол, как жук в эпосидку. Панцирь, несгибаемый бордовый костюм, позволял ей смотреть и слушать только перед собой. Мое боковое бормотанье ее раздражало. За ящиком костюма угадывались очертания роля, скрывающего стальные струны. Для тех, кто поважней, она отодвигала и разворачивала стул, меняя угол своего исключительно фронтального восприятия. В остальное время смотрела на руки, сложенные поверх лужи собственного отражения. Единственное, о чем я мог тогда думать (и мне было странно, что кто-то другой мог думать не об этом): что будет, когда она придет в гостиницу и выпустит из костюма эту массу, три промасленных коржа живота, плечи, моментально оседающие без ватных эполет, спрессовавшиеся в туфлях пальцы, измученные, как корни бонсаи (держат-то им приходится не бонсай, а настоящий дуб). Отстегивает свинцовые серьги, и уши с наслаждением вытягиваются, как у плывущего слона. Брякают на трюмо кольца, и вся конструкция расплзается подобно бочке, с которой сбили обруч. То,

что там внутри – износившийся мотор, не знающий иных путей, кроме как в гору и с прицепом, пожалуй, с удовольствием продолжил бы самороспуск плоти, но хозяин здесь не он, и даже перед телевизором вся эта китовая туша продолжает сидеть одним куском, вдыхать, выдыхать, потеть, встрепёнываться за орешком, вся эта масса удивительно нанизана на одну-единственную жизнеутверждающую струну: в целях немедленной иррадикации принять за основу проект распределения бюджета, я своим специалистам давно говорю, у меня их по области двадцать четыре, я им говорю, а область у нас большая, что надо, я помню, я сама была молодым специалистом, ну это давно, в шестидесятых, и мы тогда поехали в Калинин, сейчас это Тверь, очень, кстати, красивый город, но ладно, сейчас не будем отвлекаться, хотя я очень хорошо помню эти первые поездки – вообще, если все это порассказать, особенно в нашей профессии...

Крупная женщина, бордовый костюм, но, повинаясь ее совету, я все забыл. Я помню только имя. Людмила Ильинична. Вы спросите, что мне в имени? Всё. Я забываю лица, но никогда не забываю имен. Люблю имена белков и аминокислот (хотя, впрочем, не все одинаково) и в часы досуга гуляю в них, как в лесу: с веток свешиваются сочные, спелые узуфрукты, под ногами перекрестно опыляются *hic-et-nunc*, мужские лиловые, желтые женские, деловито снуют членистоногие мультипликаторы Ебетды, федеральным экспрессом мчатся белоголовые орланы, где-то вдали заливаются чумовым лаем луговые собачки, и вдруг раздвигаются ветки, и, тяжело поводя боками, на поляну выходит *multipara granda*. Они нередки в этих краях, но все равно это как чудо, она пятнистая, крупная, с влажными ищущими глазами, в этот сезон им особенно не хватает кальция. Популяции циркулирующих штаммов клубятся сегодня над самой землей, это к дождю, к соплям, к тому, что отныне – и к этому остается только привыкнуть – короче день. Вокруг лысая болдинская осень, и настроение меняется каждую минуту с освещением, влажностью, направлением ветра, вот это – трепетание-мерцание желудочков, а это – усталость металла, и так пока не наступит навигация в условиях полной белизны. Главное, ничего не понимать – переводите и смейтесь вовремя. Эти двое приоткрыли для меня дверь в мир, в котором я теперь живу как переводчик и как человек.

...А, можно, я передам привет? Чтецы, болтуны, графоманы, дорогие гости и участники, ваша честь, прошмыгнувшая у вас в глазах до первой мышеловки, лектор-индус, пронесшийся мимо меня, как комета (я не могу медленнее, мне обещали тридцать минут, а дали пятнадцать) – бедняга, он даже «бизнес» выговаривал как «бизинес», и тогда я хотел его высечь, а теперь высек бы в камне, – надо бы передать патриотический привет РOME, всем загубленным ученикам, экскурсантке из магазина (мне все хочется назвать ее Соня, хотя и надеюсь, что все обошлось), еще не рожденному чуду маленькой княгини борделя, даме без собачки с перевязанной рукой и чахоточным румянцем неизлечимого солецизма, почтовым голубям просвещения, выжившему из ума репетитору моего детства, которого я все пытался уличить: «У вас не сошлось с ответом!», а он отвечал: «Друг мой, это только арифметика, а мы занимаемся физикой. Хороший учебник специально дает неправильные ответы, чтоб научить вас думать», и так я выучил принцип работы со словарями: ищи условий задачи и не надейся, что можно списать ответ, – и вообще много, много народу, други и учителя, мыслю: ад есть невозможность более творить иные миры и согласие жить в этом, вместе со всеми.

1

Муравлеев высклизнул из зала, на ходу распихивая ручки и бумажки по карманам, чтоб ни с кем не прощаться и не выслушивать всегдашних «как вы все это ловко» и «главное, быстро так, не думая». Ему, наконец, поперло. Каждый день он вставал утром и ложился по вечерам, то есть, его постепенно отпустил страх. С работы он приходил в темную, как икона, старухину квартиру, от порога лишенную перспективы: казалось, шагнешь и врежешься лбом в стену. Но нет, там, сквозь нарисованный очаг с нарисованной чесночной похлебкой, он научился различать дверь в кукольный театр. Действительно, вертеп, и старуха была очень недовольна – невыносимые окурки в блюдечках, водоворот покинутых штанов у постели, сама постель, зараженная плодящимися словарями, и, главное, бумаги, бумаги повсюду. На подоконнике, откуда они иногда принимались лететь в щель приоткрытого окна, но далеко не улетали, застревали в решетке, встав поперек, как кость в горле, и быстро покрывались уличной копотью, становились не только черными, но и жирными, будто в них заворачивали колбасу. Бумаги на полу, покрывавшиеся совсем другой, сухой и твердой, пылью; бумаги на стуле, которые не столько пылились, сколько мялись (по-видимому, постоялец на них сидел); бумаги на столе, чуть чище и свежей, однако понятно, какая участь ждет и этих, если они не уйдут письмом. Постоялец предоставлял каждой ничтожной бумажонке жить до старости и умирать естественной смертью, уступая молодым свое место сначала в принтере, потом на столе, на стуле, в постели, а уж с подоконника им был один путь смешаться с гумусом под ногами. Но старуха, не растрогавшись, ежедневно готовилась сделать Муравлееву замечание. Когда она решилась и взглянула на него в упор, то чуть не отпрянула: Муравлеев был уже не жилец. Так, по инерции отбывал последние деньки. Сам он ни о чем еще не догадывался, старуха же, с многолетним опытом квартирной хозяйки, немедленно засела за новую партию пригласительных билетов. Жизнь заходила на новый круг.

Муравлеев входил в дверь и на факсе сидела синяя птица с длинным, как банное полотенце, хвостом. Муравлеев пикировал хвост, заправлял картридж новым рулоном – машину, печатающую деньги – и садился ждать прироста. По тону электронных запросов он догадывался, что пора повышать цены, но, покосившись на птицу, решал избегать пока резких движений и аккуратно писал в ответ, ни словом не упоминая прибавки за срочность. Когда звонил телефон, он все более уверенно шел отвечать в коридор, зажав в руке бумажку с цифрами – за день, за полдня, за дорогу – чтобы не сбиться и не начать мямлить. «Так, пожалуй, я и налоги платить начну», – шутил он с собой. Муравлеев обзаводился хозяйством. Он разбивал директории, как грядки, ему работалось как никогда, будто за окном стоял не развязный, раззявившийся март, а прозрачная осень, отпускающая на волю уже одним тем, что больше ничего не попишешь. Рядом, верные, как лопаты, как грабли, большое самодельное сито, неоценимое в условиях каменистой почвы, стояли его словари, справочники, полезные книжонки о том о сем, антикоррозийной защите, генных мутациях. Он с наслаждением откидывался иногда от компьютера на спинку стула, расправляя плечи и до предела заводя руки за спину, всем корпусом ощущая приятное мускульное натяжение, оттягивал назад голову, чтоб насладилась и шея, задира л пальцы ног, выставляя пятку, чтобы размять ноги, и чувствовал себя сильным, здоровым, славно поработавшим, особенно когда внизу экрана скромно стояла цифра сорок четыре – сорок четыре страницы! Хотя, конечно, несплошной текст: там кое-что таблицы. И несмотря на жесткую городскую пыль (а после сигареты казалось, что он этой пыли еще и наелся) и преисподний грохот улицы, он сладостно вытягивался всем телом в длину, под стол, оживая каждой клеткой, будто с полным правом на отдых гуляет по разбитому им цветнику где-то в тиши и прохладе.

И как будто приятно взмокший после садовых работ бежит освежиться на речку, Муравлеев открывал другой директорий, для рыбы. Рыба была упакована плотно, файл за файлом, все, что может понадобится рабочему человеку – рыбы водительских прав, коносаментов, аккредитивов, всевозможных доверенностей и поручительств. Стоит вставить десяток слов – фамилию, дату, товар – и документ готов. Это тебе не сорок четыре страницы целины. Здесь ему грела душу надежная повторяемость всего сущего, на экране мерцали звездные рыбы судьбы – стандартные свидетельства о рождении, смерти и браке, рыба-кит дипломов об окончании и отличии, жирный, ленивый лещ контрактов, разделанный на удобные в обращении параграфы, послужной Муравлеевский список – певчая рыба, выводящая убедительно и сладко, и, наконец, рыбы доброй надежды – Муравлеевские счета с просторными, незаполненными садками товаров и услуг, как будто Муравлеев еще рассчитывал в этой жизни научиться печь пиццу, менять тормозные колодки или крахмалить воротнички.

Поскольку все это еще было для него внове, рыба в директории была самая свежая, пахнущая еще не рыбой, а чистым живым телом. Взять те же водительские права: он еще помнил вот этого Николая Щелкунова, родившегося в.....году в Каменецк-Уральске. Пьяный, застенчивый Щелкунов с черными руками толпился в прихожей, хотя был один, бережно, неумело принял на руки страницу перевода, заглянул в ее белое, наивное, ничего еще не выражающее личико – и влюбился. В другую эпоху предстояло жить этой странице – в эпоху, когда веселый, посвистывающий Щелкунов погрузится на необъятный трак и повезет товар на другой край континента, по штуке за перегон (хотя окончательная сумма зависит от стоповеров), с напарником, сладко храпящим в глубине машины. И в прихожей так сгустился розовый туман, что Муравлеев испугался сглазу, и когда Щелкунов благодарил, едва удержался от положенного в таких случаях больничного напутствия: «Рады, что вам понравилось, но не попадайте к нам больше». Берегись этого храпящего напарника, Щелкунов из Каменецк-Уральска! Он может так же захрапеть, когда в глубине машины доверчиво раскинешься ты сам. Он, конечно, тоже поломается, но не так, как ты, когда тебя сбросит с полки и начнет катать, валять и бить об стены внутри медленно, кинематографически переворачивающегося грузовика. И везде, куда ты ни войдешь, если там сижу я с блокнотом – это для тебя дурной знак. Знак, что ты стоишь здесь, закованный, как рыцарь в броню, после семи операций, доказывая, что ту зарплату ты все-таки заработал *своим горбом*. Или знак, что, несмотря ни на что, ты еще празднуешь международное восьмое марта, и потому девятого стоишь в суде по обвинению в террористических угрозах. Что такое террористические угрозы? Переводчик вам сейчас объяснит. Это когда вы гоняетесь за женой по дому на инвалидной коляске, с кухонным ножом в руке, выкрикивая: «Я на тебя, суку, жизнь угробил!» Так что лучше нам никогда не встречаться, Щелкунов.

Как-то Фима, от скуки не находящий себе места в муравлеевской келье, мельком взглянул на компьютер – и замер, как гончая. Открытый перевод был еще не рыбой, а только человеком. Для того, чтобы проделать его обратную эволюцию, еще только предстояло обобщить и очистить документ от особых примет. Не у всех же, к примеру, отмечен класс Е, с прицепом, а даже наоборот, практически у всех класс В, до 3500 кг и 8-ми мест, включая водителя. Так что оставить предстояло уж никак не частное, а только самое общее: до 3500 кг.

Муравлеев стеснялся работать при госте, но Фима с такой жадностью уставился в экран, что Муравлеев почувствовал – от него ждут действий. Он высветил и одним щелчком выбил из документа фамилию. Фима подскочил.

– Что ты делаешь?! Это же ценнейшая информация!

Муравлеев пришел в некоторое замешательство, не понимая, каким образом слово «Щелкунов» в водительских правах может быть ценнейшей информацией.

– Через тебя же идет весь поток! – мистически пояснил Фима. Однако Муравлеев, хорошо зная Фиму, сообразил, что не тот поток, который в дзене. – У тебя собран... банк! Да ну просто банк полезных людей! Массажистов, настройщиков....

– Экономистов, искусствоведов....

– А что! И искусствоведов, – с вызовом подтвердил Фима. – Ты интирио-дизайн знаешь, нет? Тот же констракшн. Покрасить, оформить... Да что далеко ходить, взять хотя бы нас: Ирка второй месяц учительницу музыки ищет. Потом, педиатра хорошего надо? Надо. Посоветоваться там или что. Причем все *нормальные* педиатры – без лицензии... Ты же сидишь на золотой mine!

– Моя *золотая мина*, – с нажимом повторил суеверный Муравлеев, но Фима, невнимательный к билингвальным эффектам, и тут ничего не заметил, – в том, чтобы заготовить себе болванок побольше и дальше уже щелкать все эти справки сотнями, ни о чем не задумываясь.

– Во дурак! – необходимо резюмировал Фима. – Я же тебе советую, как перестать заниматься всей этой херней! – Ионневолью взглянул на кишаций вокруг бумажный зверинец.

Но, разумеется, Муравлеев, отказавшись от блестящей идеи создать у себя на дому биржу труда, и впредь продолжал пропалывать директорий от дубликатов. На что ему столько Лютых, Ботниковых и Чередниченко, если все они, как один, расторгли брак в_году? А уж сколько их родилось и сделалось преподавателями математики и информатики, и сосчитать нельзя. Но иногда фимино предложение сыграть в банчок развлекало его в длинные, трудные, упакованные срочным переводом ночи. Как бьется коммерческая жилка в человеке! Вроде того старичка с мебельными ордерами... Что ж, логично, ведь это только сейчас они ловчат, изворачиваются, изобретают велосипед, открывают америку, а, надо думать, вернется им всем и хозяин (надо думать? или не надо?) и востребует каждого в изначальном профессиональном качестве и состоянии. А тут и Муравлеев с картотекой, и всех на перекличку. «Шишкин, столляр!» «Есть!» «Коноводов, автоугонщик!» «Так точно!» В сторону, хранителю картотеки: «Ты знаешь Фауста?» «Он доктор?» «Он мой раб»...

Муравлеев был счастлив: у него устный перевод чередовался с письменным, как мышечное возбуждение и торможение, и такого физического согласия членов он не испытывал давно. Он настолько обнаглел от благополучия, что к нему вернулись усвоенные с детства привычки роскоши. Так, придя в гости, тут же снимал с полки книгу и погружался в чтение. Спустя какое-то время приближался к столу, наедался, дочитывал и уходил. Правда, в дверях долго благодарил за прекрасно проведенный вечер. На массовых сборищах совсем оставил дурацкое дело улыбаться и отчитываться, кто ты. В общественных местах снова стал практиковать франкловскую методику прояснения смысла – огрызнется кто-нибудь: «Здесь очередь!», а Муравлеев терпеливо проясняет: «Вы хотите войти передо мной?». И терапевтический эффект не замедлял сказаться: с полсекунды больной стоял как громом пораженный, затем лицо его прояснялось, и он принимался усиленно, с облегчением, благодарить.

Только там был один фокус. На первый этаж лифт приходил уже полный, к нему кидалась толпа, и совершенно напрасно. Очевидно, внизу был еще и подвальный этаж, и чтобы попасть наверх, надо было садиться *вниз*. Но никто не решался заставить себя ехать вниз, когда нужно наверх: каждый раз, когда на площадку прибывал идущий вниз лифт, на него никто не смотрел, а через минуту он возвращался уже в восходящем движении, и сесть в него было никак не возможно. Проезжая мимо раскрасневшихся штурмовиков в грохочущем, самодо-

вольном ящике, являющем одновременную метафору карьерного роста, христианского смирения и бахтинского карнавала, Муравлеев думал: какая чудовищная многозначность, не дай Бог в переводе!

Игорь Груздь, записанный в накладной, уже ждал, как девочка сдвинув короткие квадратные колени. Печальный недокормыш с тревожными глазами, он всегда уже ждал (наверное, поднимался пешком) – в приемной, на светофоре, и в эти лишние пять минут с ним случались всякие неприятности.

– Сколько на ней было миль?

– Уже не помню.

– Больше ста тысяч?

– Конечно!.. В отличном состоянии машина была.

В оптимальной кондиции, – переводил Муравлеев.

– Вы ударились чем, обо что?

– Вот этим об эту штуку.

Плечом, – переводил Муравлеев. – О стойку водительской двери.

Так Груздь познакомился с доктором Львив.

– Она говорит... на вашем языке?

– Да!.. Замечательный врач.

Доктор Львив надела ему ошейник на шею, пояс на поясницу, повинуюсь груздевым жестам, разъяснил Муравлеев.

– Вы носили его все время?

– По ночам. А когда дома никого не было, то и днем. Но когда выходил – снимал. Не хотелось, знаете ли...

– И долго?

– Месяца два.

Доктор Львив назначила массаж, прописала лекарства...

– От чего? Не знаю, я же не специалист... Как назывались? Не помню. Их было три или четыре... Нет, не сохранились. Названия были на бутылочке, я ее выбросил, когда кончилось лекарство... Адреса не помню, но могу подъехать и узнать. Там на углу МакДональде.

«На углу МакДональде», – тщательно записала стенографистка, а стряпчие продолжали стряпать:

– Была ли у вас постоянная работа на день аварии?

Это как посмотреть. Да, он работал в компании, развозящей продукты, как раз второй день – водить грузовичок, помогать разгружать лотки, – а после этого второго дня работать больше не смог, так как стал не в состоянии поднимать тяжести: заключение доктора Львив.

– А сейчас вы работаете?

Да, вот название компании, произнести не смог, достал карточку, чтобы все списали в бумаги. Скопив глаза, списала и стенографистка. Компания находилась в городе Амстердам, а, может быть, Стокгольм. И далеко ли туда ездить? Да часа три, если нет трафика. Адвокаты тепло улыбнулись на слово «трафик», мелькнувшее в горном потоке варварской речи, but sharks would be sharks:

– И что, каждый день сами ездите?

Он успел – выправился, сориентировался: нет, я живу в гостинице, домой приезжаю только на выходные. Конечно, я не могу столько часов за рулем, каждый день. Доктор Львив...

– А кем вы там работаете?

– Программистом, – скромно отвечал Груздь.

– У вас есть образование программиста?

– Да, я получил его уже здесь.

- И где же вы его получили?
- В компьютерной школе.
- Адрес?

Груздь на мгновение замер.

- На углу «МакДональде»?... И что же вы там делаете? Как программист?
- Я создаю приложения для базы данных, – с достоинством отвечал Груздь.

Немедленно вслед за этим его начали теснить: чего вы не можете делать после аварии такого, что могли делать до? Он отвечал:

– Я не могу двигать мебель.

– Отвечайте серьезно. Повторяю: есть что-нибудь, что вы могли делать до аварии, и не можете делать после нее?

Он сказал: «Я не могу брать на руки ребенка», – и заплакал. Адвокаты принялись утешать его. Они сказали ему: «Ничего-ничего, вы отлично отвечаете», как фигуристу на скользком льду.

Стенографистка строчила, не отрываясь. У них аппараты, вроде кассового, ну очень похоже: такие же получаются крючки, понятные только товароведу (еще одна профессия для Фимы) на ленте, тоже очень похожей на чековую катушку. (При случае уточнить: как называется такая бумага? Такая катушка?) Смотря кто клеймал. Это они тоже могут прочарджить? Да не должны больше чарджить. А почему на него биллы шли? Ну и что, что шли? Поезд ушел. Поезд ушел, а биллы приходили. А у стенографистки, как назло, перерыв. Сколько ценного текста пропадает. По протоколу она же, эта же стенографистка, приводила его к присяге. Клянётесь ли вы переводить не щадя своих сил, без пропусков, без запинки, а быстро так, не думая? Или что-то в этом роде. И Муравлеев говорил: «Клянусь».

Иногда она ошибалась и зачитывала не ту присягу: «Клянётесь ли вы говорить правду, полную правду и ничего, кроме правды, да поможет вам Бог?»

Муравлеев прикидывал, поможет ли. Переводил глаза на подопечного. Иногда адвокаты, краем уха слышавшие о диалектах, предлагали Муравлееву удостовериться, что они с Груздем совместимы. Раз-раз-раз, – бесцветно, чтоб в голос его не прокрался какой-нибудь диалект, говорил Муравлеев, – проверка связи, как слышно? Груздь терпеливо молчал и в конце концов отворачивался, чтоб ему не мешали собраться с мыслью, но звук все равно доходил без помех:

- Мочу варили?
- Варили.
- Выкипела? Во сколько?
- Не знаю точно, спала.
- Зачем?
- Устала после работы.
- Мочу зачем?
- В лечебных целях, по Галахову.

От скуки Муравлеев перелистывал лежащую тут же на столе небольшую подборку оздоровительной литературы. Вот, например, очень дельное упражнение на укрепление позвоночника: встать спиной к косяку двери и обнять косяк лопатками. Отдохнуть, обнять снова. Больше всего потряс *керогель* – затвердевшие сопли, которые, оказывается, все мы носим в голове, до полкило затвердевших соплей, которые предлагается размягать и выводить серией специальных упражнений (опустите голову в тазик с ледяной водой и, подержав с минуту, перенесите в тазик с горячей).

- Что, пить?

- Да нет, мазаться.
- Везде?
- Нет, только где болит.
- Обязательно своей или любой?
- Ну что вы, ей-богу!

(Убрать из протокола как ответ не по существу.)

– Итак, что мы имеем: ущерб, нанесенный домоуправлению в виде аммиачного запаха...
– Зачем вы сказали, что моча? – перевел Муравлев. – Выкипело и выкипело. Может, там бульон был?

– Существуют санузлы, которыми должны пользоваться жильцы, вместо того чтоб в отдельных контейнерах и сосудах, в неизвестных нам целях, подвергать термической обработке...

– Бульон! Вы бы слышали запах на лестничной клетке.... Хорошо Галахову на природе – на даче выпаривать, в бане...

Он смотрел, как бесстрастно из-под пальцев стенографистки струится рулон отрепетированных признаний, как подробно, в мельчайших деталях, простыми средствами да и нет, почем и когда, вырисовывается картина. В ней, как в хокку, написанных тушью, стояли деревья, рождались дети, скрипели колодцы, брехали собаки. Каковы последствия травм? Я стала нервной и злой. Я не сплю по ночам. Я плачу. Что прописала вам доктор Львив? Транквилизаторы. Не помогают. Я могу предъявить фотографии той стремянки. Не могу мыть пол, двигать мебель. А раньше вы часто двигали мебель? Ходить по магазинам, носить, поднимать руку, дотягиваться до верхней полки. Еще что? Значит, это... Говорите ВСЕ. Жить с женой. Как вы нашли врача? Врача порекомендовал Павлик.

Pavlik, – старательно записывала стенографистка.

А он все ставил и ставил меня в ночную смену, менять белье, переворачивать тяжелых больных, вкалывать, как в Африке. Так что выкидыш произошел по причине расовой дискриминации. Даже и доктор Львив... А там как раз не горел фонарь. Я вот так наступила... Вы ударились? Чем, обо что? Вот этим об эту штуку. Затылком о подголовник. Коленями о панель управления. И? Рентген, доктор Львив, тяжести, пол, с верхней полки. Вы недоговариваете? Совершенно расстроился секс. Толчок. Меня спасла жевательная резинка. Иначе я тут бы перед вами не сидел. А так я уронил ее изо рта и наклонился поднять. Смещение позвонка в поясничной области. Шея. Вот это плечо. Как бы вы оценили удар по шкале в десять баллов? В десять баллов. Как бы вы оценили боль по шкале в десять баллов? В десять баллов. Как бы вы оценили последствия травм по шкале в десять баллов? В десять баллов. Мой врач, как ее... Доктор Львив, – перевел Муравлев, не дожидаясь, пока вверх дном перевернут все папки. Уж вам-то не стоило бы вставать в позу, – на прощанье заметил ему адвокат. – Сколько я даю вам работы! А разве я встаю в позу? – искренне удивился Муравлев. В речи истца со жвачкой был какой-то мелкий дефект, вроде трели, форшлага: затылком-ёбенеер, об, ёбенеер, подголовник. Что бы такое могло это быть? Муравлев поставил слух на аварийку, стиснул челюсти – Е-Б-А-Н-Ы-Й В Р-О-Т. Sic. Как же быть? Ну ладно, не заикаюсь же я, когда перевожу заику. Впрочем, может и зря. Ведь вдруг это следствие травм? Или вдруг несет смысловую нагрузку? Тьфу, опять вниманье к детали, минимальные пары sic-sick, способность к принятию решений, а ведь специально избрал для себя грязный, потный физический труд, чтоб зато никогда ни с чем этим не приходилось возиться.

Стенографистка все оплетала шнурами, один к электрической каске, другой к микрофону, откуда ведется запись, плюс пара шнуров, назначения которых никак не понять, сидела на свой насест, заносила лакированные руки, и сам собой из-под пальцев бежал божественный текст, его бы печатать томами и продавать, тогда не понадобится специально писать книжек, ни по орфоэпии, ни про любовь. И фильмов бандитских тоже не надо.

Мальчик ждал на балконе. Начинало темнеть, и обещанный срок давно вышел. Наконец, он увидел, подъехал отец. Он хотел закричать, но не успел. Нет, они не остановились. Та машина проехала мимо. А отец повис на двери в подъезд. Да нет, ну что вы! – отвечала она на вопрос страховой компании. – Он был маленький клерк, не каскадер, не космонавт, какой там профессиональный риск. Так, случайно застраховался на десять миллионов.

Груздь за столом сидел совершенно бездумно. В такой духоте, тесноте и давке (так и толкают, так и стоят за левым плечом), в безумолчном хоре чужих голосов терялась нить. Только специально обученная парка (вон, за кассой, оплетенная тысячей проводов) все тянет и тянет, как шелкопряд, но, несмотря на разницу в диалектах (машина ткнулась в поребрик... в поребрик?., ну, в бровку, и у нее отвалились колеса), Муравлеев читал молчанье Груздя, как открытую книгу:

*А где компания? – Да, кажется, в Стокгольме. -
Вы что, не помните? – Нет, визуально помню,
Но я могу подъехать, посмотреть,
Там на углу «МакДональде».... В Амстердаме!
Да, точно, не в Стокгольме, в Амстердаме,
Но тоже совершенная дыра:
Искусственное озеро и утки,
Вдоль берега дощатый променад,
Салон для новобрачных и химчистка,
Еще в окне висел такой плакат
Гуашью, от руки: «All Books Must Go!»,
А я тогда совсем ни в зуб ногой,
И, помнится, так даже и не понял,
Что закрывали книжный магазин
И напоследок – все на распродажу.
Я думал, там кружок, ячейка, секта,
Назад к природе, что-нибудь такое...
(А правда, что мормоны – многоженцы?)
Но внутрь туда никто не заходил.
Там вообще, на этом променаде
На доски вылезали только утки
И тишина такая.... Только флаг
Трехцветный разорялся, как трецотка:
Естественное дело, у воды
Плюс на холме – конечно, будет ветер...
Я проработал там всего два дня.*

Ничего, без рифмы как-нибудь справлюсь. Но тем временем парка спохватывалась. Пока Муравлеев соображал, сможет ли он сказать правду про нестерпимую боль в пояснице, фонари, аптеки, стремянки, правила уличного движения, по шкале в десять баллов полную правду про секс и ничего, кроме правды, про руки, сцепленные наручниками за спиной (вот кто делает

упражнение по Галахову непрерывно) и беременную хозяйку борделя, кутающуюся в себя, как в шаль (массажистки-свидетельницы сбежали, можно, конечно, и просто считать показания по бумажке – не показания, а Овидий! – но прокурорам хотелось прищучить вживую, брала такая досада, она же только сидела, отдуваясь, время текло у нее не так, как у этих мужчин), проходила целая длинная секунда, и стенографистка зачитывала правильную присягу. Муравлеев клялся, и перед ним, прижав палец к губам, возникал блаженный Иероним Стридонский, покровитель всех переводчиков, а Груздю тем временем объясняли:

– Вы знаете, что такое депозиция? Это дача свидетельских показаний под присягой.

В конце *депозиции* неизбежно наступал момент, когда допрошенного информировали, что теперь кассовые закорючки будут переписаны в виде слов, слова переплетены в виде брошюры, и так называемый транскрипт с показаниями будет в качестве доказательства фигурировать на суде – он же давал присягу, верно? Этот момент был всегда равно неприятен Муравлееву и Груздю: прокрутив в голове сказанное, оба одновременно приходили к выводу, что, с одной стороны, наговорили много лишнего, а, с другой, не сказали главного. А тут зато Pavlik, которого теперь не вырубишь топором. Этот Павлик во всех транскриптах. А кто увез вас с места происшествия? Павлик. А кто был свидетелем? Павлик. А как фамилия Павлика? Да как-то я никогда не... Стенографистка держалась уверенно, а между тем она вряд ли успевала записывать то, чего Груздь не успел сказать или Муравлеев перевести, хотя вид у нее был такой, будто транскрипт получился самый исчерпывающий, оставалось лишь поражаться этому неслышанному в литературе самодовольству. Но чего в самом деле не мог ей простить: из-за нее не успел правильно присягнуть.

С течением времени он начинал сдавать. Вы или кто-либо из членов вашей семьи, вы подавали, или вам предъявляли... Но тут уже она ответила да, и стало поздно переводить то, а нужно уже было переводить это. Вы были когда-нибудь стороной по делу... или кто-нибудь из членов вашей семьи? Муравлеев опять не успел. Иск на возмещение личного ущерба? Участвовали? взял быка за рога Муравлеев. Сначала глагол, быстро подумал Муравлеев, являлись ли вы, или кто-то из семьи вашей, одной из сторон в... В следующий раз Муравлеев забраковал «являлись» и сказал просто «вы были...», а потом подумал и добавил «или кто-нибудь из членов вашей семьи был?» и опять бездарно истратил время.

Он прыгал и прыгал, каждый раз задевая барьер копытами, и чем больше примеривался, тем радикальнее сбивал планку. Никому не было до этого никакого дела, шла мирная, будничная вольтижировка, даже неугомонный истец забылся нервным, вздрагивающим сном. Борьба и нахрап ему только предстояли, не следить же, в самом деле, за отбором присяжных, заунывным, как песня в степи. Все они, все до одного, когда-нибудь в жизни предъявляли иски по возмещению физического, морального или материального ущерба. Им разбивали машины, их неправильно лечили, травил начальник, обманывали в магазине. Life is a bitch. Но кто же должен за это ответить? Это приходило к ним естественно, как чередование вдоха и выдоха, фазы луны, которую после материального, морального и физического ущерба распирает, пучит, бросает в рост, money commutes, как дурак на работу, с работы, мирная дрема в тепле электрички, пока... Телефон! Вместилище чувства востребованности средой, единственный орган, путешествующий по телу, то оживет в нагрудном кармане, то где-нибудь над бедренной костью, в кармане брюк, а то и в другой комнате, орган, который первое время включаешь и выключаешь, словно бы набрасывая платок на клетку с попугаем, но со временем, приучив к общему (строгому) режиму тела, можешь вполне рассчитывать, что он будет возникать по расписанию, как аппетит, усталость, сонливость, вялость, алкогольное возбуждение и снова усталость, сонливость, вялость, что-то беспокоит меня телефон, что-то он выгрызает,

пойти бы провериться, лечь на обследование, хотя что они мне скажут, из мрачного медицинского юмора? Скажите спасибо, что разыгрывает? Если проснулись, и у вас ничего не звонит, считайте, что умерли?

Звонила фиминова жена, просила посидеть с ребенком. Вот еще новости! Фимины штучки. Лифт дрогнул, вошел в пазы, и от этого незначительного сотрясения в мозгу у Муравлеева из цветных кусочков сложилась фраза: «Выступали ли вы или кто-либо из членов вашей семьи истцом или ответчиком по делу о возмещении личного ущерба?» Он тут же прошелся по ней языком, чтобы склеить на века, поднял глаза и увидел Фиму, курящего на лестничной клетке. В распахнутой двери у зеркала стояла Ира, нервная, злая, юбка сзади оттянута ниже, чем спереди. Железная женщина, даже в невинно плещущейся поверхности зеркала, чуть глубже ее непосредственного отражения – вечно с лихорадочными пятнами какой-то аллергии или чистой злобы, со втянутой шеей, с редящими волосёнками – стояла красивая железная женщина, и время от времени кто-нибудь замечал это. Фима же, тот вообще видел это отражение непрерывно, только его и видел, только и делал, что, дрожа от ужаса, следил за малейшим движеньем своей Горгоны в лоснящемся боку холодильника или в узкой полоске кухонного крана. Кроме него он не замечал вообще ничего: ни обвисших подмышек, ни того, что эта пятнистая злоба – давно уже не тот праведный гнев и неутолимая жажда истины, которые когда-то так поразили его воображение, а *просто* злоба и неутолимая жажда крови, не обязательно его, фиминой, но кто же еще подставится? Если бы Фима хоть раз не испугался прямого взгляда на жену, ему так же очевидно, как всем остальным, сделалось бы, что Ира – всего-навсего стерва, плохая хозяйка, человек с тяжелым и мрачным характером, но он решительно не понимал, насколько его ситуация обратна персеевой. Впрочем, почему дурак? По-своему счастливый человек. Романтик. Дрожит, но сидит на своем куске мрамора... Из кухни донесся капризный голос их Ромы: «Любительскую!», и Ира тут же смягчилась, пятна рассредоточились со скул по остальной морде, посветлели, порозовели: Рома вовремя выступил с любительской, как раз к приходу Муравлеева. Ира гордилась, что мальчик знает любительскую, докторскую, вообще слова, один раз даже сказал Муравлееву: «Посмотри, как я ныряю! Ты будешь писать кипятком!» И Ира тогда расцвела и даже сразу оставила идею научить мальчика обращаться ко взрослым на вы и по имени-отчеству. Резко изменила курс на хамскую, непозволительную, высоко идиоматичную фамильярность.

Рома вывалил лего на пол.

– Давай ты будешь человек, и я буду человек, – сказал Рома и подал фигурки без рук. У муравлеевской не было еще и головы, и Рома попытался заменить ее рюкзаком, но рюкзак не подходил. – Теряются, – объяснил он. После рабочего дня Муравлеев понял как нельзя лучше.

На ночь Ира велела Чуковского.

– Я пришью ему новые ножки, – декламировал Муравлеев.

– Где возьмет? – немедленно спросил Рома.

– Купит, – туманно ответил Муравлеев.

А Груздя все же жаль – так слиться с зеленым листком, на котором сидишь! Чтобы узнать, действительно ли вывихнуто плечико у бедного кузнечика, надо взять в руки лупу, а кто возьмет в руки лупу? Доктор Львив? Готовый на все, уехать – уедем, грузовичок – поведем, в аварию – попадем, программистом – а запросто, – безотказен для окружающей среды! А она ему что? А она ему шиш? Не знаю, сварливо думал Муравлеев, по-божески, не по-божески, но уж во всяком случае не по-дарвиновски. Зловредный Рома не спал, он совсем распоясался на своих верхних нарах, совал ноги в лицо Муравлееву и вопил на запрещенном в доме языке:

– Trick or treat, smell my feet!

Муравлеев послушно понюхал. Ромины пятки ничем не пахли. Ира, поднявшая Рому с пола – он все же упал и заснул на полу, а рядом храпел Муравлеев на грудах рассыпанного лего: ноги, руки, строительный материал, колеса, кирпич и длинные балки, – мелкая моторика, пояснила Ира, способствует речевому развитию. Он умолчал про считалку, он умолчал и о том, что весь день разъезжает по этажам, упражняя способность к карьерному росту, бахтинскому карнавалу и христианскому смирению, и открывает объятия каждому косяку. Ты совсем не видишь людей, сказал Фима, дай я тебя свожу. Он отбивался, но не помогло, там как раз очень удачно, у них фирма сгорела, сказал ему Фима, они празднуют новоселье, там будет масса приличных людей, я налажу тебе такой бизнес, им все время что-нибудь нужно переводить.

– Купите Роме солдатиков, – на прощанье посоветовал Муравлеев, – говно это лего ваше.

И увидел, как напряглась Ира. Она была против милитаристских игр.

2

Фима был прав, народу собралась уйма. Обналичка и безналичка, он им за треть, они ему треть, без устали комментировал Фима, шоу-рум, интернет-проект, сорос-грант, – и все же лучше туда не соваться. Там, невзирая на странные деноминации Фимы, вроде Сифа и Фоба, двух героев муравлеевских переводов (куда-то делись в последнее время, и спокойней не узнавать, куда), толпились водители поршей и понтиаков, люди из левого ряда, живущие на светофорах и съездах с шоссе, сто процентов времени, Муравлеев уж знал, мучимые стопроцентной болью. Груздь, без ошейника, втаскивал в дверь тяжеленный ящик с шампанским.

Конечно, их было трудно узнать, раньше он видел их только до пояса, сейчас же им приходилось куда-то пристроить руки и ноги, бокалы, тарелки, и с центром тяжести все справлялись по-разному. Те, что постарше и погрузней, укоренялись пузом вперед, элегантно до жути одетые дамы, балансируя торсом, держались на каблуках, юнцы острили с развязностью, передающейся членам. Стоя есть, на глазах у всех, как танцпол, пересечь всю залу, сдержанно засмеяться, поведать интимную тайну, не дыша при этом в лицо – все эти светские упражнения давались им как изошренная пытка, испанский сапожок или подвешение разбойника в наитеснейшей клетке. Выразить удовлетворение, не крикнув, заложить за спину руки, тут же не прогнувшись назад, чтобы размять поясницу (авария все же давала о себе знать), не чесать нос, не дергать себя за бороду, – однако подвешенные не возражали, как не возражают против престижного вида спорта, требующего дорогой спецодежды и готовности выглядеть смешно.

Ближайшая к Муравлееву группа играла в эскимосские палочки. По правилам первый игрок щекочет медведю нос палочкой приличной длины, следующий должен сломать ее пополам и щекотать уже с менее безопасного расстояния, а еще следующему приходится щекотать четвертью. В разговоре этой группы палочка укорачивалась ежесекундно. Все уже чувствовали, что верных реплик осталось три-четыре, и торопились их расхватать.

– Вот у Набокова же получилось.

– Набоков не чистый случай.

– А Джозеф Конрад?

Теперь оставалась только одна:

– Как бы то ни было, именно единичность подобных случаев, как исключение, подтверждающее правило...

Круг слегка приумолк, никому не хотелось выставлять себя идиотом, и только какая-то девушка вдруг сказала:

– А что Джозеф Конрад? Его кто-то когда-то читал?

Все деликатно потупились, разве ее молодой человек не мог оторвать страдающего взгляда от того места, где у нее только что была кисть. Он и жалел, и не мог не злиться, ведь она опозорила и его: при чем тут вообще Джозеф Конрад? Разве не ясно, что в этой игре им всегда ходят в паре с Набоковым?

Конечно, молодой человек не узнал его, но Муравлеев узнал прекрасно – когда-то он всех их учил иностранным языкам. Майн фатер ист инженер. Майне мутер ист инженер. Майн брудер ист инженер. И дальше с надрывом: их в иль инженер верден. Он не успел спросить, удалась ли жизнь. Все ли так, как задумал? Выучился ли молодой человек на инженера? Да и незачем берeditь.

Ну-с, еще кон в эскимосские палочки?

– Объездили все: Рим, Венеция, Флоренция, – туповато сыграла первая.

Палку немедленно отломили:

– Пиза, Сиена, Болонья, Ассизы...

– Да..., – коварно вздохнула третья, – Веронезе, Карпаччо, Джотто...

Эль Греко в Толедо, в Мадриде Прадо, безвыездно, как киевский дядька, – дрожа от возбуждения, на острие эскимосской палки им туда просовывали еду, хоть пальцев в рот особо не клали, а что бы было, если бы ночью какой-то шутник поменял местами таблички на клетках? Уверенно говоришь «Лувр», потом смотришь – о Боже! Уффици!

– Хамон двести евро кило!

И выиграла бы, но тут какая-то сволочь вдруг пискнула:

– Хороший хамон и сто грамм столько стоит.

Что ж, продули. Бывает.

После хозяйки борделя Муравлеев старался никому не смотреть на живот, живое напоминание, как все не вовремя: только наладила бизнес, отшлифовала детали конкурсного отбора, оформления виз, трудовых договоров, первичный инструктаж, непрерывное повышение квалификации, благоустроила помещение, и тут, как назло... Впрочем, очные ставки, допросы, зачтение прав, предъявление всяких улик ее вроде и не волновали, как будто в массу тела и теплой пуховой шали можно уйти, завернуться, и там никто не достанет, она слушала все как сквозь сон, как сквозь вату, и улыбалась довольной животной улыбкой, когда выяснялось, что все свидетельницы-массажистки разбежались, кто-то со страху дал показания, но и все тут же пропали, то есть конкурсный отбор был все же поставлен правильно, и теперь в зале суда не было ни единой женщины. Следовательно, прокурор, переводчик, ее адвокат, пристав, судья, свидетели (несколько клиентов в штатском), даже секретарь судебного заседания был одним из тех непришейкобылехвостных одутловатых юношей с гноящимися прыщами, которых из жалости пристраивают на работу, но потом все равно посадят за просмотр порнографических сайтов, особо гнусных, с младенцами, мальчиками и садистами – за приобщением к делу вещественных доказательств он здесь следил внимательней всех. Среди этих, по самой природе двумерных, мужчин ей было трудно скрывать чувство собственного превосходства, а скрыть как-то надо, чтобы сюрприз удался, когда тяготящая плотность тумана, подпирающего под грудину, ее космологическая сингулярность здесь, сегодня, сейчас, среди этих мужчин, вызывающих жалость уж тем, как капает время и лишает свободы пространство, – когда все это взорвется ни на что до нее не похожей вселенной, – она так и сидела, кутаясь в шаль, испуская характерное реликтовое излучение.

– Как сейчас помню...

– Смотрю в телевизор...

– Сначала думаю: фильм...

– Вдруг звонок: вы там живы?..

– А Илюша-то в школе! Первый день поехал сам на автобусе, я и так издергалась вся, извелась...

Среди выдержанных игроков ни один не покатылся. Прием законный. Каждый имеет право поволноваться, живи он хоть в другом полушарии, как вот эта гостья с Илюшей. Однако, пора и приблизиться к эпицентру:

– Подъезжаю: чего это, думаю, там летает...

– П о д х о ж у: чего это, думаю, там горит...

Теперь, когда круг сужался неумолимо, торопились с репликами только дураки. Теперь уже просто посчитать можно было, когда ударить.

– Я там работаю через дорогу. Запах стоял месяц.

– Два.

– Полгода.

Искусственно, неинтересно умножали число ходов. Но вот и оно:

– А я работал прям там. Опоздал на пятнадцать минут.

Что ж, в спорте одна секунда решает все. Сейчас он предъявит визитные карточки всех погибших. Муравлеев тысячи раз наблюдал игру, и тысячи раз поражало, что на этом месте она обрывается. Вперед, не ссы, не корову проигрываешь, надо так:

– Прямо там, ровно в девять, я стоял на самой верхушке...

Но поскольку никто не рискнул:

– Жена названивает, ёвеер! «Я, ёвеер, просто знала, что ты опоздаешь!», – шумно праздновал победитель, срываясь на бабий визг. И хоть были кое-какие сомненья (не перепутал ли адрес и дату?), бестактно не ликовать, что сейчас он здесь, среди нас, и потому ёвеер, захлебываясь, твердил: «Всегда опаздываю! Везде!», справедливо полагая, что изо всех элементов этот – самый правдивый. И по правилам никуда не деться, пощечину от истерики не влепишь, пока сам теперь не уймется.

Наконец, Муравлеев не выдержал.

– Его надо удалить отсюда. Я, конечно, лингвист, и мне все слова хороши, но не все время же одни и те же. И потом...., – Муравлеев остановил взгляд на Их-Виль-Инженер-Вердене (лицо его побурело, волосы погрубели, шея заматерела, как у взрослой овчарки, но в манере стоять было прежнее, школьное, и на плече болтался ремень той же сумки, которую он не нашелся куда пристроить), – ...здесь дети.

– Ты о чем? – беззаботно спросил Фима.

– А ты прислушайся.

Фима прислушался.

– Мда, действительно.

И неприязненно покосился на Муравлеева. Мог бы так и не вслушиваться, не на работе.

– Его нельзя удалить. У Ебаного в Рот швейцарское гражданство... Ладно, видишь вон ту вон тетку? Она написала книжку. Надо бы перевести.

Повернуться Муравлеев не торопился. Что еще ждало его там? Pavlik? Из постоянных, хотя и заглазных, сношений с вездесущим Павликом он уже знал, что человек этот слишком опасен, много знает, и самой тенденцией подвернуться во всех местах происшествия превращает знакомство с собой в дурную примету.

– И большая книжка? – спросил Муравлеев, а сам уж, подлец, считал, что если там страниц двести-триста (книжка все-таки)...

– Да думаю, немаленькая. Но ты не волнуйся, денег она тебе все равно не даст.

– Тогда нафига мне эта книжка?

– Есть вариант, – со значением сказал Фима.

Тут уж пришлось повернуться и уяснить направление перевода. На фоне прочих гостей было особо заметно, что с координацией у нее все в порядке, и это выдавало в ней уроженку здешних мест: как их ни раскрути, выйдут из незнакомой аптеки и продолжат движение в заданном направлении – на север, на юг, на восток, на запад, – не читая названий, не спрашивая, не мечась, никогда не путаясь в сетке и не сбиваясь, в какую сторону увеличиваются улицы и убывают авеню. Как будто у них намагничено.

– У Матильды есть дом, в котором никто не живет. Я думаю, тебя надо поселить в этот дом, – тем временем излагал Фима. – По крайней мере, пока ты переводишь книжку. Так что переводить особо не торопись.

– А что за книжка?

– Поэма.

Муравлеев внезапно устал. Видеть сны не профессия и не искусство. Он не сомневался, что Матильда, как каждый присутствующий, видит сны. Но в тексте ничего не зависит от качества сна, все зависит от качества перевода. Одним количеством форм – падежей, наклонений, времен, категорий числа, принадлежности, цвета и вкуса, модулирующей модальности, степенью памяти, что все это только во сне – язык сновидений в сотни раз превосходит все мертвые и живые, но когда доходит до дела, то все заявляют: «Мне не надо грамматики, мне бы только общаться». И наивно дивятся, что чужой сон невозможно дослушать, не умирая от скуки. Иногда его спрашивали: почему же вы не предупредили, что это непереводаемо? Что он мог ответить? Что его тоже не предупредили, когда он поступал в институт? Что теперь он должен поддерживать тайну как в личных, так и в общественных интересах, и не считает переводческое сообщество ни порочнее, ни бесстыдней ассоциации терапевтов или семьи цирковых иллюзионистов? С древнейших времен ремесленники объединялись в цеха, чтобы хранить от лхов единственный свой секрет, тот самый, мистический, чернокнижный секрет Виктории, вату в лифчике: того, за чем вы пришли, не бывает, но есть масса способов быть счастливым...

Уронив наконец-то вилку, Муравлеев нырнул в анонимные ноги гостей, чтоб раствориться там вслед за ней, но ноги уже поспешно разворачивались, формируя новый круг общения, вилку грубо рвали из рук и там, почти на уровне пола, жадно допрашивали, кто такой, чем занимается, как сюда попал, и Муравлеев смиренно сидел на корточках и отчитывался в собственном существовании, хотя все внутри вырывалось и кричало: «Я не танцую! Мне жмут ботинки!» Я был экспертом торговой палаты, – говорил завладевший Муравлеевской вилкой, – и всегда считал, что лучше я поделюсь и будет чем делиться, чем не поделюсь и делиться будет нечем. А, скажите, чтоб быть переводчиком, тоже ведь всем, кому надо, приходится сунуть? От удивления Муравлеев встал. И увидел, что третий эксперт на всякий будущий случай просто сделал ему комплимент.

Но было поздно, Муравлеев уже оказался внутри.

– Он знал его с детства! Даже ходил в матроске. По Английской набережной.

Дался же им Джозеф Конрад!

– Однажды, – сказал Муравлеев, – я видел в Атлантик-Сити, на набережной...

Фима, знавший Муравлеева досконально, вздохнул в сторону. Только те, кто впервые видел Муравлеева, с интересом следили, как в окне появился хобот, еще не подозревая, что через минуту в посудной лавке окажется и весь слон.

– Какие-то сутенеристые мужички притащили на набережную негритянку в одеяле. Развернули одеяло, положили на живот – а у нее ни рук, ни ног. Поставили перед ней синтезатор, подключили к усилителю, подтянули ее поближе, и она, языком нажимая на клавиши, стала исполнять «Историю любви». Знаете: та-та-та та-та...

Муравлеев, собственно, закончил, хотя от него еще чего-то ждали.

– А вот я один раз случайно оказалась в Гарлеме, – нерешительно начала одна дамочка, пойдя по ложному следу.

– И при чем тут Джозеф Конрад? – тут же осадил ее старичок в серебряных очках.

– В данном контексте, – пояснил Муравлеев, – согласитесь, бестактно обсуждать музыкальные достоинства ее исполнения.

– Но именно исполнение, – взвизгнул старичок, – именно в стилистическом отношении...

Однако Муравлеев уже сошел с рельс.

– Гудини, – зудел Муравлеев. – Без рук, без ног, без топоренка, язык и тот протезный. Язык той тетки на набережной описывал все тот же зумбольдтовский круг, – Муравлеев облизал зубы. – Почти порнографическое зрелище.

Дом, в котором он будет переводить поэму, стоит за тысячи лет и за тысячи миль отсюда, оттого там никто и не живет. Знаете, почему еще мне так запала та тетка – я ведь сам переводчик и знаю, какое это ужасное ощущение, когда устает язык. Мне тоже хочется чуда, чтоб нарушились все лингвистические законы природы, но отсутствие всяких чудес послано нам как чудо для укрепления веры. Упорное стремление анимировать абсолютную, безупречную тишину литературы, вроде как башенные часы с фигурками – мало молча показывать время, нужно, чтобы по первому требованию из окошек выскакивали какие-то дикие персонажи, каждый со своим фокусом – у одного сифилис, другой педераст, кокаинщик, сноб, граф, образцовый отец, у этого, как вы настаиваете, неистребимый акцент, который проступает, только если подержать бумагу на свече. Чтобы все это как-то кривлялось и пищало на разные голоса...

– Господа, по-моему он назвал нас сутенерами, вытащившими тетку на одеяле!

По тому, как никто не засмеялся, обнаружилось, что Муравлеев со старичком уже некоторое время разговаривают вдвоем, а господ давно уж снесло течением: «ботинки, доски, всякий хлам, и у этого костра они грелись, а уже, знаете, стало темно...»

– Впрочем, это вполне извинительное стремление. Я сам переезжаю сейчас за город, и тишина меня просто убивает. Как глянешь, а там деревья, все черные и все на одно лицо.

– Вот-вот! – подхватила дамочка. – Именно что все черные и все на одно лицо!

Фима тревожно вздрогнул, что Муравлеев и там развалит компактнейший разговор.

– Заходите ко мне, – сказал старичок. – У меня тоже... устает язык.

И отошел. А Фима схватил Муравлеева и зашипел:

– Ты знаешь, кто это был? Нет, ты знаешь, кто это был?!

Хотя он делал возмущенное лицо, он не был по-настоящему недоволен Муравлеевым – его, фимин, слон понравился Филькенштейну.

День начался с воскресной проповеди, освободив Муравлеева от необходимости заходить к Филькенштейну. В репродукторе чистый, красивый мужской голос объяснял, что нельзя провозить, как снять ботинки, без сожалений расстаться с заначенной зажигалкой и держать в руке документ. Прихожане почтительно слушали. Когда-то на каждом шагу враг расставлял ловушки душе, теперь телу, и в школах закон божий тихо мутировал в основы безопасности жизнедеятельности... Муравлеев любил этот глухой, будто высланный ватой, огромный аэропорт. Здесь пересекались все воздушные пути, и два-три часа между рейсами протекали безболезненно и беззвучно. Беззвучно с экранов мелькал бейсбол, реклама прыщей, их разыскивает полиция: красномордая блондинка и тут же лилейно-белая, крапчатый подросток и он же гладенький, или перекрашивается, отпускает усики, опустился, обрюзг, подобрел глазами, но в душе все тот же бандит. Переводя с экрана глаза, он видел, что все они тут, хватай не хочу, слоняются по серым паласам с видом, посторонним для собственной жизни, безразлично глядят на сосиски (а ведь когда-то все это ели), иногда, сконфуженно улыбаясь, покупают себе бутерброд, но сколько ни двигают челюстями, не наступает ни аппетита, ни насыщения, ни вкуса на языке. Хватаются за телефон, но там, на земле, их не всегда могут вспомнить, а, вспомнив, спрашивают только: «Где ты?» и, получив ответ, теряют всяческий интерес: ты сначала прилети. Выходят из туалетов, так же сконфуженно улыбаясь (видно, не вышло и это), блон-

динка же прислужилась в курительном баре. Доппельгангеры, сам он сейчас свой собственный допельгангер в клубах сизой вони, в звоне посуды, наблюдая ватные разговоры (он ей «шлеп-шлеп», она ему «шлеп-шлеп-шлеп»), а за окном медленно, волоча брюхо, проползают длинные трубообразные животные. Так по ночам голосят, не дождавшись сына домой: его завезли! завезли! А что, если нас завезли? Ограбили, бросили на обочине... Непомерно оставил блондинке на чай: пассажиры-то, может, еще улетят, а она, в клубах сизой вони, в заложенном ватой пространстве, клацающем посудой за стойкой бара... вот уж точно кого завезли.

С самолета, еще допельгангером, влажный, полный тумана, спустился в багажное отделение, отодвинулся на край конвейера, чтобы багаж доходил до него отфильтрованный многими парами рук, и всем телом вдруг ощутил, что пятно на другом конце зала сжимается, разжимается, пульсирует:

– Перевести! Перевести! Надо перевести!

Муравлеев метнулся к пятну, затесался в толпу, преобразуясь с той же стремительностью, что в телевизоре, из допельгангера в единственно верную форму:

– Что перевести?

– Часы!

Но уже было поздно. Он снова уже был собой. День приезда окончился.

– Скажите, а ПЦР вы используете в качестве диагностической методики?

– Используем... – неуверенно сказала администраторша. И, подтверже: – Конечно, используем. Мы всё используем. Но вам подробнее расскажут сотрудники...

– ПЦР у нас, – перевел Муравлеев, – не лицензирован как метод диагностики.

– Это хорошо, это правильно, – закивал Гришкин.

– Very good, excellent, – перевел Муравлеев, и администраторша тоже вся просияла от удовольствия, глядя в одобряющее, полное энтузиазма лицо Гришкина.

Гришкин вошел в лабораторию на цыпочках.

– Передайте нам, пожалуйста, пробирки, – со значением сказала администраторша.

Гришкин с жадностью уставился на пробирки.

– Мы изобрели новый метод, которым очень гордимся.

Зная уже впечатлительность Гришкина, осторожный Муравлеев перевел:

– Я вам сейчас кое-что покажу.

Переводческое чутье не подвело его. Администраторша вытащила пробирку и подчеркнула ногтем небольшую наклейку.

– Вот тут опознавательный код. Поскольку анализы анонимны, фамилии нет, представьте, как важно не перепутать. Чтоб код на пробирке соответствовал коду в документации. Вот там, где сидят три наших сотрудницы – Анджела Льюис, Берта Шмидт и Ширли Томсон – в офисе оформления документации, где все данные вносятся в компьютер (Ширли потом сделает вам доклад о том, как заносить данные в компьютер) – там должны внести в компьютер код, строго соответствующий коду на пробирке с анализом, потому что в противном случае, если у человека позитивная реакция, а ему объявят, что негативная, или же наоборот, у него негативная, а скажут, что позитивная, в общем это все страшная ответственность! – администраторша драматически развела руками, но тут же с торжеством продолжила. – И тут мы придумали!

Муравлеев не удержался и коротко вздохнул.

– Ах, простите, я могу повторить! – вскричала администраторша.

– Спасибо, не надо, – поспешно ответил Муравлеев, и, повернувшись к Гришкину, произнес: Методы диагностики такие же, как везде: половину материала на иммуноферментный анализ, другую на блоттинг Вестерна. Попозже надо будет зайти в регистратуру, поздороваться с девочками приличия ради – Анджела Льюис, Берта Шмидт и Ширли Томсон.

Услышав знакомые имена, администраторша согласно закивала.

– Но вот что интересно, – продолжил Муравлеев. – В последнее время стали выявлять не только ВИЧ-1, но и ВИЧ-2.

Глаза у Гришкина загорелись.

– А я думал, здесь...

– Что же вы придумали? – милостиво перевел Муравлеев администраторше.

Довольная произведенным эффектом, она постучала ногтем по наклейке, и Гришкин прилежно уставился на пробирку.

– Мы придумали использовать самонаклеивающийся ярлык: снимаем сверху полоску и переклеиваем ее в медицинскую карту, причем один опознавательный код остается на пробирке, а другой, точно такой же, наклеен теперь в документ. Таким образом, ошибка исключена! Вот такой научный метод работы придумали у нас в лаборатории.

– Да, представьте, попадается. Проверяем штамм, если место рождения в Африке, – не поморщившись, перевел Муравлеев. – Таким образом, выявлено несколько случаев. Вот какие интересные данные удалось получить в нашей лаборатории!

– Да, здорово, – сказал Гришкин.

– Very impressive, – похвалил и Муравлеев.

Гришкин уже налаживался повывяснить, а сколько именно случаев, но администраторша, прикрывая спиной нехитрое эпидемиологическое вуду, карту города с воткнутыми в нее булавками СПИДа, рвалась к выходу, очень кстати для Муравлеева, который чувствовал, что практически исчерпал свой словарный запас по предложенной теме.

– Нас ждут в офисе оформления документации, – объявила администраторша.

– Буквально на минутку заглянем в регистратуру, – сказал и Муравлеев, пропуская Гришкина вперед, чтобы тот не застрял в лаборатории.

Ширли Томсон сидела перед компьютером на вертящемся стульчике, и ее зад лежал вокруг нее, как юбочка.

– Вы знаете анекдот про Людмилу Зыкину? – мечтательно спросил Гришкин, не отрывая взгляда от Ширли Томсон. – А интересно, можно спросить, сколько она зарабатывает?

Муравлеев послушно и тут перевел, что фиксировать данные так блестяще не наука, не должность, а прямо искусство. Под восхищенным гришкинским взглядом Ширли Томсон вся зацвела.

В конце концов вышли на улицу.

– Это школа, – кивнула администраторша в сторону детской площадки и плоского скучного дома, обнесенного сеткой. Дети, отборные боровики всех мастей, волочили по мягкому полу площадки свои рюкзаки. Вот так скоро и Рома. Администраторша кратко обозначила на лице умиление. Делегация остановилась у сетки.

– Нда, – сказала Людмила Ильинична, – диабет обеспечен.

– Не факт! – возразил вечно ищущий Гришкин, – Поглядите, какие плотненькие!

– И при достаточно смуглой коже, – туманно добавил Алексей Степаныч.

– В общем, генетическое уже перерождение, – подвела итог Людмила Ильинична, и консилиум двинулся дальше.

За меню возникла классическая перепалка, кета это или горбуша, нерка или кижуч. По аналогии вспомнились калуга, белуга, севрюга. (Раньше считал, что калуга – скорее город). А также омуль, хариус, таймень. (Нет, города – омск и Тюмень.) Речной тигр, – монотонно переводил Муравлеев официанту, – рыба между щукой и лососем, обитает в Сибири в пресной воде. А юкола? – забавлялись иностранные гости. – Какой же ты переводчик? Юколы не знает! Муравлеев мстил официанту целенаправленно, планомерно. Когда стоишь за ужином, наострив утомленное за день ухо и тщательно запоминая особенно заморочный тост, чтобы во избежание международного скандала не перевести его слово в слово, к столу приближается человек с бутылкой: «Вам красного или белого?» Ты машешь ему: отойди, не сейчас! Он заходит с дру-

гой стороны, наклоняется и повторяет. Чувствуя, как уплывает конец анекдота, как на секунду снопом искр вспыхивает и гаснет десяток фамилий и должностей, как растворяется в воздухе цитата из «Детской болезни левизны в коммунизме», а ты не успеваешь подложить в колыбель Шекспира, машинально еще раз ныряешь в сторону, и тут он теряет терпение. С ненавистью, вплотную приблизив лицо и выплевывая каждое слово, в абсолютной тишине, наступившей для перевода, он произносит: «Сэр! Я говорю с вами. Извольте ответить, что будете пить». Похожие как близнецы, оба во фраках, склонившись под тем же углом в позе почтительного внимания, исполнители самых интимных вмешательств в чужие физиологические процессы, официанты и переводчики ненавидят друг друга. Толмачи и халдеи, война мышей и лягушек, до XVIII века приписываемая Гомеру.

Но в обед – то ли он не так уставал, то ли официанты не так безобразят – звук доходил до Муравлеева без помех:

*Я человек военный, должен быть в форме,
Солдаты в окопах, в окопах змеи,
Они привыкли, едят их,
А ведь там и почва, и блохи,
Света нет, а если б и был – нельзя, перестрелки,
Так что я должен быть в форме,
Организм говорит: в твоём возрасте
Доходишься в тренажерный зал до инфаркта,
В двухкомнатной квартире, а у меня их трое,
Плюс племянник, но он такой... сложный,
Хочет водить, я даю ему свой «Жигуленок»:
Пусть водит, лишь бы учился...*

Гришкин, видимо, чувствовал, что его не совсем понимают, и он их – не очень, изнемогал от желания пообщаться запросто, перейти с ними на ты, в эту минуту он собирался вернуться домой и пойти на курсы. Муравлеев мог бы разочаровать его. Пока они там едят бутерброды с желе и ореховым маслом, получают зарплату таинственными опционами, строят на зиму дом из фанеры, молятся по воскресеньям и коллекционируют фарфоровые шарики для игры в гольф, кажется, могли бы многое порассказать. Но чем ближе подходишь к возможности их расспросить, тем меньше вопросов. Чем больше читаешь в оригинале, тем они менее оригинальны. Пока, захлопнув учебник грамматики, не обнаружишь, что не осталось ни тайн, ни текста, выходящего за пределы лингафонного курса. Не сдаваться, искать aberrаций, слепящий солнечный зайчик отчаянного солецизма, – и, разумеется, находить: живет в лесу, работает даром, книжки читает, селедку ест. А потом так перелистнешь, а там еще приложения, все исключения списком, пронумерованные по темам: нестяжательство, экологизм...

После обеда встал вопрос телефонных карт. В аптеке? Во дурак. Какие же телефонные карты в аптеке? А еще переводчик. Только одна делегатка ловила муравлеевский взгляд и едва заметно кивала на слове «аптека». Чувствовалось, еще минута, и она ему все расскажет – а чего стесняться, переводчику практически как врачу. Вот у вас, например, какой размер? Мой муж такой же, только выше, стройнее, спортивней и лучше в постели. Почему на вас брюки? Мне бы тоже что-нибудь простенькое, подешевле. Ну вы, наверное, плохо искали? Наверное, и нормальную работу можно здесь было найти? И, кижуч всех вопросов, королевский лосось: по родине не скучаете?

Встречались старорежимные: «Зачем вы перевели про змей? Вас что, не учили в советском вузе, что змей не надо?» Встречались современные, чернушники: «А что же вы промолчали про змей? Редактируете нас, лакируете?» И те и другие считали, что он завербован. Правда, первые чаще и чаще махали рукой, очевидно, припоминая, что образ большого, но брата, который заботится обо всем, тоже изжил себя, теперь можно лепить что угодно. И если нам этого не поручали, зачем хлопотать о представлении всего в выгодном свете?

Гулять по городу было не сахар. Чтоб зря не носить, им спешили воспользоваться для перевода любого печатного слова, от осторожно окрашено до типовой таблички у входа в церковь: «It is strictly forbidden to feed/ harass/ bother/ frighten or enter designated restricted areas», только Плюша бодро переводил, самшит on the left, самшит on the right, подмигивая Муравлееву: «Растение такое». Изо всей галереи прекрасных образов им больше всего импонирует образ рачительного хозяина: тут у нас мэрия, публичная библиотека, по алфавиту помойка, бак для стекла и жести, ящик для благотворительных сборов и избирательных бюллетеней, в нише законодательная, над камином исполнительная, в простенке судебная – гарнитур-тройка, мебель заказа отцов-основателей, если кто сомневается – чиппендейл.

Вы нас не щелкнете? Мы вот там вон встанем. И на этот фотоаппарат тоже. Последние уже ни о чем не просили, молча нанизывали фотоаппараты Муравлееву на распяленные руки, как на вешалку для зонтов. Наушники сбрасывали ему же – не в наушниках же фотографироваться. Еще раз: не было вспышки. Вы разве нажали? А, по-моему, не нажали. Кто же так нажимает? Палец из объектива уберите.

– Здание, кстати, старинное, 1902-го года, – подкрадывался Принимающая Сторона. – По фасаду аллегорические фигуры сельского хозяйства с лицом внучки главного архитектора, железнодорожного транспорта с лицом неизвестного, у фигуры массового потребления согласно проекту отколот палец, что в традиции протестантского зодчества символизирует несовершенство человеческой природы, отсюда система сдержек и противовесов. Лестница, шотландский известняк, завезенный на сумму восемьдесят две тысячи долларов – по тем временам огромная сумма. А вы сейчас попробуйте, хе-хе, на деньги налогоплательщика... История у нас недлинная, но по художественному значению, как видите, не уступаем.

Пока разбирали фотоаппараты, тут же (рачительный хозяин) удостоверился:

– Вы перевели мою шутку про известняк?

А чего же тогда никто не смеется? Смеривал Муравлеева холодным, нешуточным взглядом: не забыл ли толмач за развлечениями, что надо и дело делать? Это такой народ: им сто слов, а они... три.

И, все еще капельку дуясь, вводил в кабинет, где представлялись по кругу: Вильям Пенн, губернатор, можно просто Билли, Джек Гуд Шепард, по работе с населением, Патриция Блек, интересы отдельных групп, юрисконсульт Джон Маклер, Сузи Хоммейкер, по хозяйственной части, Стефани Хукер, пи-ар, Дуку Юмореску, бюро ликвидации последствий, Ричард Браунинг из спецслужб... Тут дама пугалась, прихлопнув ладошкой рот, но Муравлеев кивал головой: да пожалуйста, хоть еще две дюжины, – и хладнокровно перечислял, ведь для переводчика все фамилии говорящие, Мерлины-Кречетовы и Цукерманы, назвать при переводчике свою фамилию – все равно что рассказывать при психоаналитике сны, – представлялись и гости из лучников, кравчих, черемисов, жучков и крючков (Муравлеев знал, что забудет все лица, и никогда – имен), «обособленное подразделение-филиал», ответно интриговал Муравлеев принимающую сторону... «А, можно, я буду называть вас просто Алекс?» – простецки улыбался губернатор всем Алексеям и Александрам. Выдвигался...

– Юджин Храбарчук, скажи что-нибудь гостям!

– До побачинья! – басил Юджин и пояснял: – Это я им сказал «добро пожаловать».

И тут выяснялось, что губернатору приятно было пообщаться, а теперь надо идти, и только Александры и Алексеи оставались в легком недоумении, когда же Билли будет звать их просто Алекс.

Принимающая Сторона, шипя:

– Поблагодарите их за содержательный доклад.

Делегация, пожав плечами:

– Благодарим за содержательный доклад.

Принимающая Сторона, решительно:

– От лица делегации позвольте поблагодарить за теплый прием, за время, внимание, щедрость при передаче опыта, за гостеприимство и чипсы, от которых мы почувствовали себя как дома...

Озираясь сквозь слезы, обнаруживал, что группа ретировалась в уголок и судорожно роется в пакетах, переругиваясь на варварском языке.

– Четыре, шесть, восемь...

– Давайте так как-нибудь...

– Десять, двенадцать... Не сбивайте меня.

– Давайте так как-нибудь: вы старайтесь мужчины женщинам, а женщины...

– Пятнадцать. На всех не хватит.

– А женщины мужчинам.

– Пятнадцать ложек и восемь матрешек.

– В гостинице у меня еще три ложки и два значка.

– «В гостинице!» Размножьте эту матрешку.

Хлеб, соль, Гжель, ручная работа, золотая осень, усадьба Тургенева, это вот м-а-т-р-е-ш-к-а, по-вашему русская красавица, по-нашему... Растиражированная матрешка отправлялась по рукам – много их, принимающих – маленькая, побольше, средняя, еще больше, и, наконец, губернатору, большая, внутри которой уже ничего не гремит.

Сменившись с Плюшей, Муравлеев отсаживался в уголок (хорошо, когда там были колонны) и погружался в книжку. Книжка была большая, страниц на шестьсот, там и так было трудно что-либо сообразить, а они все пытались выяснить у Муравлеева, кто здесь главней кого – сувениры вышли столь градуированные, что боязно ошибиться. Ему то и дело совали под нос жестянки, чтоб он как-нибудь экспертным взглядом оценил их достоинство, причем окажись у него в руках лупа, не эти значки с покорением космоса, а бесчисленных секретарш проверял бы на пробу, совершенно в них не разбираясь. (Как, бывало, затаскивают в ювелирный магазин и требуют показать, что сейчас модно и что имеет смысл брать.) Кажется, в книжке враги взяли восемьдесят гражданских заложников и нашему герою дали в руки автомат: расстреляешь одного партизана, и всех отпустят. Расстреляешь? По идее должны же быть макроспособы с ними работать: по одежде, по полу, прическе, названию должности, а не только под лупой, и Муравлеев вполне разделял недовольство клиентов и принимающей стороны, он хотел бы стать лучше, но как? Рыб, допустим, я выучу, но вот как выучишь этих? Кто матрешка, а кто всего лишь значок?

Плюша, вечный напарник, отличавшийся от него только тем, что в свои тридцать минут не читал, а звонил по мобильнику и проверял электронную почту, как раз заступил, и если сразу же не открыть книгу, тридцать минут кончались в следующую же секунду. Хотя так читать все равно что ночью в лесу ориентироваться при вспышке молнии. Вот на мгновение

небо сделалось голубым, он вострепнулся, и все погасло. Мелькало все время в разных местах, то прямо под носом, то где-то в кустах, будто кто-то очень быстро показал кукиш, но быть уверенным в этом нельзя. И все же из этих вспышек постепенно сложилось если не знание, то ощущение местности. Расстрелять одного, а выпустят восемьдесят. Чистая арифметика.

Рачительный хозяин никогда не спускал с него глаз (так потом жалуются: знаешь, во что мне обошелся этот ремонт? пришлось взять отпуск, чтобы за ними *смотреть!* ведь за ними нельзя не смотреть – то перекур, то запой, то цемент не подвезли, – не оставишь же на само-тек!): в любой перерыв, будто они придуманы для переводчиков, а не для тех, кто работает, Муравлеев мог углубиться в книжку, в любой момент сцепиться с официантом, точнее с тарелкой, которую, совершенно нетронутую, официант пытался вырвать из рук, а Муравлеев (наивный! что же, весь стол теперь будет молчать, а он кушать?) пытался ему не отдать, мог пойти в туалет, еще что-нибудь отчебучить, и хотя контролировать сложно (поди узнай, что он там мешает в ведре), можно хотя бы по мелочам – громкость, скорость, энтузиазм – руководить переводом, подсказать, а когда и подправить – нет, курить там нельзя (и с чего переводчик решил, что они спрашивают про фраки?)

Нет, не в смокингах... Они что, взбесились? Пятый раз читал все ту же страницу – сначала длинный абзац в середине, потом короткие по бокам, потом – убедившись, что ни шиша не понимает – имена собственные и, наконец, целенаправленно, все буквы «а» с кружочком. Читать так все равно, что читать при неверном свете: «партизан» – безыдейный бандит, известный убийца еще с довоенных времен. Или: партизан едва держится на ногах, изувеченный пыткой, в нем жизни на полчаса. А тут восемьдесят человек. Расстреляешь?

– А сколько сейчас времени? – вдруг спохватывался кто-то (казалось, стоит узнать, где находится стрелка, и все войдет в фокус: где мы по карте, по алфавиту, отсчитывая от династии Минь), и, что самое поразительное, к той минуте, что этот вопрос созрел, времени было всегда ровно столько, что невозможно было не крикнуть:

– В Петропавловске-Камчатском полночь!

И опять заводить канитель про одиннадцать часовых поясов и одну шестую суши. (Или теперь уже меньше?) При возникновении пинг-понга приз остроумия срывал тот, кто успевал первым крикнуть, что давненько не брал в руки шашек. После обеда пассаж, произносимый для лучшего пищеварения: «спасибо этому дому, пойдем к другому», а, входя в помещенье с морозца, знал, что выражение «одна – но пламенная! – страсть» переводится фразой «скажите, пожалуйста, где туалеты». И если один уже машет анкетой, а другой еще мучается (добить партизана? ведь ясно, что все остальные и так донесут), и первый поддразнивает «что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок?» – это значит, что первый, между питанием и гостиницей, уже оценил качество перевода. Там есть графа: транспорт, содержание лекций, приветливость обслужперсонала, в целом удовлетворительно, однако (нужное подчеркнуть) некомпанейский, непочтительно дерзок, от культурной программы по магазинам хронически уклонялся, в зале сидел спиной. (Не в силах простить, что при переводе про прапорщика и сесть-встать смех ни разу не задушил Муравлеева)... Попадались и те, кто острил часами. Нам грубиянов не нужно. Мы сами грубияны. А вы – идите назад в Арбат. Там вас с нетерпением ждут хозяева гуся. И часами все хохотали. Это был тот завораживающий прием, когда эскимосская палочка тает в руках одного игрока, как бенгальский огонь, без передачи другому, хоть и тут находились спортсмены с железной волей к победе – такой перебьет и закончит цитату, вырвав ее из чужого рта. Соревнование становилось физическим, становилось вдруг важно, кто где стоял, проигрывал замкнутый, тихий (пискнет и раньше другого, да не расслышат), суетливый проигрывал тоже, пока придерживал дверь, рылся в портфеле, снимал-надевал шинель... Уж сказали! крикнули! победили! А мог бы и ты блистать в обществе, дело нехитрое.

Постепенно Муравлеев научился кое-чего не уметь. Вы нас не сфотографируете? Я не умею. Как это можно не уметь? (Скромно, опустив глаза). Да как-то само вышло. Я покажу, где нажать. Не надо! Я не хотел бы напортить. Фотоаппараты передавали сопровождающему, Муравлеев знал, что тот никогда не простит – ему и так приходилось всюду таскаться с группой, на заседаниях рассматривать ботинки, в микроавтобусе ложиться на самое длинное сиденье и храпеть громче всех, припахать его было весьма соблазнительно (ведь за ними нельзя не смотреть, управлять, контролировать по мелочам – подсказать, а когда и подправить, и написать на него можно раньше, чем он успеет написать на тебя), и когда Муравлеев подкрадывался... но тот смотрел так, что хотелось ему объяснить, что я-то как раз хороший, никогда за глаза не зову *фасилитаторов* сифилитиками – только в глаза. «Ты не умеешь строить социальные отношения», – говорил ему Плюша, и Муравлеев краснел от удовольствия: все же не зря копчу небо, научился кое-чего не уметь. Шестьсот страниц, а все ведь гораздо проще. В таких ситуациях умствовать нечего, положишься на глазомер и твердость руки. Положишься на свою никчемность, а по никчемности я ворошиловский стрелок: как иные в монету с восьмидесяти ярдов, так я хоть в упор, хоть с оптическим прицелом, хоть полдня, не попаду ни разу. Не умею. Давайте сюда автомат, я за себя спокоен. Что вы, ей-богу, у вас голова седая, а вы не выучились таким простейшим вещам. И он запросто подходил к *фасилитатору* и говорил ему:

– Я в галюн, а ты им расскажешь, не скучаешь ли ты по родине. Через минутку вернусь и сменю.

И фасилитатор так же запросто отвечал:

– А пошел ты.

Вот что значит глазомер.

Вот как вопросы гуманитарных расстрелов решаются сами собой.

Оставалось лишь с удивленьем смотреть на книгу – как проник туда фасилитатор? Какая-то очень открытая книга. Автор, умница, замечательный собеседник, в любую минуту готовый отказаться от домашней заготовки и заговорить о том, что действительно интересует других; когда-то этот сюжет был ему дорог, он всю жизнь ждал минуты, когда ты раскроешь книгу, но теперь, в миллионный раз столкнувшись с простейшей истиной – читатель эгоцентричен, как любой смертный – он уступал, менял тему, впадал отвечал, почти без сожаленья (хотя у воспитанных разве скажешь?) смотрел, как труд его жизни, который когда-то хотел высечь из камня, из мрамора, становится легче и мягче пыли, налета тончайшей пыльцы, золотящей лужу стола. Уже никогда Муравлеев не вспомнит всех перипетий, разве в толпе подпивших гостей, примериваясь по плюшиному совету построить социальные отношения (так, будто это почему-либо может удалиться), вдруг заметит в чередовании реплик шахматы, педофилию, инцест и все виды насильственной смерти (странно, когда он читал, ничего такого там не было), походя удивится, что король был, оказывается, маньяком – читал ты, Муравлеев, книгу, а видел – фигу в кадке над кожаным лежбищем кресел, среди их гладких блестящих спин, наблюдал между ними тюленью возню (от сквозняка они тихо вращались на ножке, подталкивая друг друга), и за горизонтом их спин, обращающихся в валуны, набегающие волны жалюзи цвета взбитых сливок в тени, от зари до зари толкающие друг дружку догнать и осалить в игре *chiaro-scuro*. Муравлеев то хмурился, то улыбался, следуя чередованью полос на странице, а вспыхнувший клоч фиолетовой сахарной ваты вдруг выхватывал в тексте абзац, и, склонив голову, он наблюдал, как светится фраза – это солнечный луч зажег фиолетовую шевелюру сидящей напротив дамы. Это – было; маньяка, вообразившего родину – не было.

С годами проходит необходимость оправдываться. При разрыве тому, кто бросает, все ясно, а бросаемый пишет записки, звонит, добивается встречи, произносит «нам нужно поговорить», происходящее кажется недоразумением, кажется, стоит лишь внятно себя объяснить, и все станет как было – так когда-то и автор спешил объясниться с жизнью. Показать ей, что в чем-то не разобралась, предостеречь от пригретых у нее на груди, вызвать пронзительное сожаление такую россыпь сокровищ – вдруг и по собственной дурачности – потерять. Но после смерти у всех, должно быть, происходит переоценка ценностей, и то, что представлялось единственно важным, как-то теперь уж не волновало. Хотелось теперь одного. Только жить. Не быть любимым жизнью, а жить, смотреть из их глаз, как из окон электрички, на поля, по которым он никогда не пройдет. Не настаивал больше ни на героях, ни на сюжетах, ни на призыве все бросить и куда-то бежать, и Муравлеев читал, а на стенке метелкой ходила по циферблату стрелка, сметающая с лица его всякое выражение, и на флагштоке на одной ножке громоздился вздорный орел, расставив в стороны руки и вывернув голову в профиль, как горбоносая балерина, колосились панели светлых, под дерево, стен, раздавался вздох делегата «Парилово чистой воды!» (хорошо Галахову в бане), урчит в животе и хочется супу (неужели на ужин опять бутерброды с ореховым маслом?!). Так читать все равно, что читать при неверном... нет, очень верном свете, вон он льется во все щели жалюзи, и нет нужды, что не понял – зато все видел. Выйдя на улицу из помещения, он озирался:

– Мне показалось, была гроза?

– Гроза?

– Ну да, все сверкало, гремело, я ничего не понял.

– Я вам скажу откровенно: у меня методы, у вас штаммы. Штаммы, с которыми мне тоже хочется поработать.

С показным равнодушием, притушенной искрой в глазах (наркодилер, напавший то ли на лоха, то ли особого извращенца, а скорее всего и то и другое), он взвесил ответ:

– Пусть даст денег, и я найду ему штаммы.

Заметались тени во рту, не пломбы, а крошки железного хлеба:

– Как ему понравится штамм, который не лизируется чумой, но лизируется псевдотуберкулезом? А я уверен, что это чума.

– Как это?!!

– А вот так. Я найду этот штамм. Я знаю где. Пусть только даст денег на новый проект.

За столом разыгралась привычная батрахиомахия, что неудивительно, ведь самые бесчеловечные войны ведутся между близкими родственниками. Сейчас не будем соревноваться, чей род древней, признаем лишь объективно, что переводчики многим обязаны официантам. Ведь по преданию именно в кабачке открыт Куртом Левином секрет нашей сногшибательной памяти, наводящей ужас на непрофессионалов. Там, наблюдая, как хладнокровный кельнер манипулирует десятком блюд, выставляя шницель именно там, где его заказали, Курт Левин подозвал жонглера к себе и узнал, что попросили вон те верзилы (кельнер без запинки ответил), а что вон те, от первых неотличимые. В кабачке царила типичная атмосфера того времени: пили пиво, ругали правительство, в частности тех, кто позволил ходить по себе ногами, обсуждалось, кто держит рынки, кто понаехал, кто... ты пройди по улице, ни одного человеческого лица. Мясистые красные рожи, гнилая вонь изо рта, шницель из собачатины (кельнер сделал вид, что не расслышал), воображаю, чем обжираются норвящие нам диктовать свою волю через океан под предлогом якобы выигранной холодной, горячей, первой, второй... История – перечень блюд, которых мы никогда не съедим, только щелкнем зубами, а я фронтовик, – завизжал вдруг старик, – я кровь проливал, и, направив свой взгляд под стол, Курт Левин обнаружил, что там нет ног, и заскучал смертельной тоской. Проклятая сила привычки! Сколько, дескать, сосисок: две? четыре? десяток? Что здесь можно еще заказать?! Все нево-

время, все не о том, и в тысячный раз подумал, пора подаваться отсюда, уже надо, уже бьют посуду, но кельнер решительно не замечал, что творится в подвальчике и за окном, лишь декламировал: браткартофельн, вюрстхен, шинкен, – доставляя клиенту заказанное удовольствие (к их странностям быстро ведь привыкаешь). «А за тем вон, откуда ушли?» – кивнул Курт Левин на покинутый столик, чтоб как-нибудь отвязаться. «Там не помню, там уже расплатились», – беззаботно отвечал кельнер, и в ту же секунду, забыв мизантропию и подкатывающую тошноту, Курт Левин открыл эффект незавершенного действия – ту феноменальную краткосрочную память, которая действует лишь до тех пор, пока с тобой не расплатились. А не открой он ее, как бы мы сейчас переводили? Но никакой благодарности официантам, выступившим в этом деле застрельщиками, переводчики почему-то не испытывают.

– Достал Гришкин этот. Такой дотошный, – пожаловался Плюша.

– Если хочешь, Гришкина я возьму на себя, – равнодушно сказал Муравлеев, заноса над ртом ложку супа.

Гришкин, словно подслушав, вежливо развернулся корпусом:

– А вы что думаете про страну, про людей? Все-таки у вас же тоже должно быть какое-то мнение.

Можно я лучше про ПЦР? затосковал Муравлеев, но взял себя в руки, положил ложку обратно на стол и пожал плечами. От себя ему было нечего сообщить. Он ведь мог только повторять, что они скажут. Как трамвай, ходить лишь по рельсам заданной темы, жить ее радостями и печалью. Вот вчера с директрисой огромной сети гастрономов увлеченно переводил про стратегии продаж: как мы работаем с их аппетитом, с каждым разом фасуя в брикет чуть больше мороженого, как формируем спонтанный спрос и с психологами просчитали, где, в какой точке торговой площади возникают те блики на глянцевого пачке, что создают мимолетную, но гениальную иллюзию съедобности – и, как ребенок со взрослыми браконьерами на рыбалке, вместе с нею страстно желал, чтобы в сеть гастрономов уволнялось как можно больше, гордился, что в рекордном росте ее оборотов, рейтингов, дивидендов, успеха у акционеров и просто приятных мужчин будет его, хоть и детский, но искренний вклад, частица его труда. А сегодня уже диабет, и глоссарий к этой теме хранится совсем в другом файле. Да и Гришкину трудно затормозить: еще минута, и по инерции он попытается впарить Муравлееву штамм, что-нибудь уникальное, не лизирующееся чумой. Но, приглядевшись, как жадно, как из голодного края, Муравлеев все-таки исподтишка хочет отведать остывшего супу (все остальные давно приступили к десерту), Гришкин четко увидел, Муравлеев не завербован – так, несчастное, жалкое существо, способное лишь повторять, что скажут, наборщик, превращающий в монстра любое иностранное слово, особенно если в нем есть надстрочные знаки... И Гришкин, вскочив со стула и озарившись тем грозным свечением, что предвещает *bon mot*, громко крикнул:

– Как говорится!

Утирая сухие губы салфеткой, Муравлеев тоже привстал, тоже празднично улыбнулся, готовясь к «спасибо этому дому», но услышал:

– Попили-поели, можно и честь потерять!

– За что люблю свою работу, – покойно излагал Муравлеев в кухне, где Ира драила красного коня, – это непредсказуемость. Всегда услышишь что-нибудь новое.

Фима скептически посопел:

– Ты просто плохо искал. Наверняка и нормальную работу можно здесь было найти.

Рома ютился тут же, с рабочей прописью. Он писал буквально как курица лапой, зажав ручку как курица лапой насест, но каждый раз, поймав ирин взгляд, перекладывал ручку на палец, только никак не помнил, какой: указательный? средний? вообще безымянный? Ручка падала, Ира купала посудной щеткой коня, Муравлеев сидел, ни о чем не думая.

– Чтение! – сжалилась Ира.

Она, видимо, знала текст. Потому что Муравлеев, сколько ни слушал, не понимал ни слова. Перегнувшись в рожу азбуку, он подсмотрел: Л. Толстой. Ворона поймала рака. Рак ей льстил: знал твоего отца, он умнее, только ты умнее. Ворона молчала. Рак подпускал туры: знал и мать, красавица-птица, но ты... На каких-то кухнях ворона сломалась, рот открылся, и рак сбежал. Заподозрив ромину «хры», Ира вдруг потребовала: «Перескажи!»

Рома заплакал. Правда, тут же утешился, узнав, что «перескажи» значит «расскажи», а не «прочитай еще раз», и бодро начал:

– Ворона поймала краба, приносит его в гнездо: «Мама, приготовь мне этого краба!» А он говорит: отпустите, я вам всех родственников приведу. Ему поверили. А родственники так и не пришли...

Муравлеев слушал замороженный. Даже утихомирил Иру:

– Когда он вырастет, раков уже не будет.

Переводчиков, видимо, тоже. Жаль: у мальчика есть задатки.

Рома выполз из-за стола, взял коня...

– Готовься, я буду тебе читать! – крикнула Ира. – Дай ему высохнуть!

В перерывах между снарядами Ира садилась пить чай, и за чаем она излагала теорию. Бедный Фима! Здесь было все, даже притча о семерых злейших бесах. Муравлеев припомнил, как Рома, ошалев от подарочной неспособности Муравлеева себя поставить, с верхних нар ему тыкал ногами в нос. Ромины пятки ничем не пахли. Ровно ничем. Какие там семеро злейших бесов! Закончила Ира пошлейшим образом, что «природа не терпит пустоты», и Муравлеев снова сдержался, не стал делиться своими открытиями. Закончив, Ира вскочила, труба звала, а Муравлеев остался размышлять о правилах духовной гигиены для взрослых вонючих душ, пораженных трихофитией, микроспорией и прочими дерматомицетами, и о стонущем на весь дом «ма-а-а-а-ма, мне ску-у-у-ушно...», – пустоте Торричелли, внутри которой творятся большие дела.

Не давая Роме забыться, Ира коварно и неожиданно прерывалась, чтобы спросить, что хотел выразить автор.

– Смотри, смотри, как она его, – (с восхищением? ужасом?) шептал Фима. – Это не женщина, это английский бульдог...

Ира снова садилась пить чай (крикнув Роме: «Готовься клеить гербарий!»), язык у нее, слава богу, уже не ворочался, она потусторонне смотрела перед собой, слабо, рассеянно улыбалась, словно после сдачи донорской крови. Не пустоты, боялась того, что пустоту, упреждая ее, уже чем-нибудь напишут – Рома должен был скоро отправиться в школу, оставался минимум времени быстро его обучить читать и писать с наклоном, так, как надо, пока не научат они. У Иры был сильный соперник, чуть ли не каждое «новое слово» – Ира несла, как пирог на блюде – приходилось на место, где уже что-то стояло, ведь он ходил в детский сад, на площадку, смотрел мультфильмы, соперник вел большую работу по заполнению пустоты. В Роме все готовилось затянуться, как теменной родничок, и при словах «Осторожно, двери закрываются!» Ира страдала спазмами клаустрофобии, снова и снова бросаясь на дверь в порыве, обратном александрома-тросовскому. Эти действия стали привычной формой безумия: «гербарий», заметил Муравлеев, вырезался с каких-то открыток – и впрямь, где здесь взять листья липы, осины, рябины? (Из природы Рома лучше всего знал ежа, троллейбус, рябину и дворника, которых, к сожалению, нельзя было предъявить ему даже в зоопарке.)

И все же зима недаром злится, скоро будут и листья и все, так мечтал Муравлеев, стоя над чаном, в котором по кругу вращалась жижа, закипая бороздками пены. Все утро шли деревянным настилом вдоль водовода – старинного, без затей, лотка, направляющего поток под уклон, – а вокруг стояли сосны, пронизанные голубым лишайником в складках кожи и глыбы камней, меж которых просвечивала голая земля с редкими остатками травы. Шли молча, лишь иногда, с унылым кряхтеньем показывая друг другу пальцем на стыки, и это кряхтенье, то восклицательное, то буднично-деловое, непередаваемое, как хруст ветки под ногой, быстрый шорох взбирающейся по стволу белки, отрывистый стук падающих шишек, намекало на непостижимую тайну чужого существования гораздо откровеннее, чем список параметров, учитывающихся при выборе фильтрующих материалов, как то: попадание пенетрантов, возможность неравномерного распределения подстилающего слоя... – список, вызубренный Муравлеевым наизусть еще в самолете, и все же позволивший ему определенно уловить только одну тонкость ассенизаторского дела: когда расселись по камням слегка перекусить (на секунду Муравлеев вообразил, что будут давать калачи с отрывной ручкой), начальник очистных сооружений принялся безудержно хвастать, что выше по течению нет ни одного сколько-нибудь примечательного города, а вот ниже по течению... – и начальник увлеченно перечислил целый ряд довольно известных географических пунктов, в то время как присутствующие захлебывались от хохота.

Вот эту-то профессиональную шутку понял даже Муравлеев, и стал было соображать, где находится он сам, ниже чего по течению, но бросил: род занятий не позволял дать волю впечатлительности, как, бывает, после практики на колбасном заводе до конца своих дней избегают – почему-то только одного, определенного – сорта колбасы. От жизни не убежишь, а при его профессии подобная впечатлительность могла бы убить последнюю тварную радость: пить из крана, дышать асбестом, кормить с руки луговых собачек... Специалисты вздохнули, плотней завернулись в куртки и запрокинули лица, вытряхивая из банки коричневую струю «Кока-Колы». Взяв себя в руки, дошли по лотку до самого водозабора, где гулял пронизывающий ветер. Вода повторяла пейзаж, но не так, как на самом деле: ярче, сочнее и все вверх ногами, сосны тянулись вверх плаунами, изображение подрагивало кожей чуткого животного – оленя, лошади – под укусами насекомых, и по воде расходились внезапные круги, а расселины между деревьями вели уже не в сухой, по-своему спортивный, подтянутый лес, а в черные и довольно склизкие подводные гроты бессознательного.

Он хотел уточнить термин, но это были уже другие специалисты, хотя так же в чане по кругу вращалась жижа, и, постояв над чаном, снова шли к истокам, на ферму, где во тьме, переступая ногами, дышали огромные шершавые животные. И тут тоже пахло парами весны.

– И сколько у вас работает человек? – поинтересовался технолог, одержимый идеей продвижения кефира (он считал, что кефир не хуже балета или Достоевского должен способствовать культурному обогащению прочих наций, и что вопрос с мировым распространением йогурта должен решаться как-то конгруэнтней, по модели ОСВ).

– Я, – сказал фермер, воткнув вилы. – Моя жена. Мои два сына. Жены моих сыновей. А летом, в сезон, нанимаем двоих.

– Это значит... восемь человек! – посчитав, воскликнул технолог. – А по нашим нормам должно шестьдесят!

– Это было бы хорошо, – наяву грезил фермер, воткнув в пол вилы. – Можно было б по очереди не работать в воскресенье или вечером съездить в кино, сходить в гости. Поспать до восьми. Да что там! Можно было б устроить ОТПУСК! – и, мрачняя, выдернул вилы. – Только боюсь, что зарплату ваши шестьдесят человек получали бы рублями.

И где-то между лицом этого фермера, опирающегося подбородком о черенок, и лицом начальника управления коммунального хозяйства втискивался Фима, бубнящий: «Что же ты? Что же ты?», и Муравлеев, привлеченный запахом блинов (в это время года вдруг однажды с утра страстно хотелось блинов, и Муравлеев безотчетно шел туда, где дают их с медом, сметаной, икрой), все не мог понять: о чем это он? Сомневается, что Муравлеев правильно перевел акры в гектары? Так тот не по акрам считал, а по поголовью скота. Опасается за водоочистные сооружения, настроенные по спецификациям Муравлеева? Зря.

Достаточно засесть выше по течению с топором, как Генри Дэвид Торо... Чего ж он тогда придирается? Что может Фима понимать в переводе? И хотя какая-то заноза все-таки саднила, отирая рот от блина, Муравлеев ринулся в аэропорт и вылетел, не опоздав.

Он не любил читать на ходу, как иной на ходу не любит курить, но и, как иной курить, уже не на ходу не умел. Прочитанная внимательно, от слова до слова, книга казалась нудной, медленной и, в отрыве от прочих событий рабочего дня, бедной сюжетом и каждой мыслью повернутой на себя. Нет, в моно-логичном формате всякая книжка была нестерпима. Сегодня она оказалась незаменима как никогда: пока один переводил, другой с быстротой наперсточника отыскивал в ней цитаты и подкладывал коллеге под нос. А между цитатами очень легко:

Позвольте мне привести вам пример. На земле живет шесть миллиардов. Сколько у каждого глаз? Правильно, два. Сколько ушей? Тоже два. У каждого нос, две ноздри, один рот. На лице они располагаются одинаково. В верхней части глаза, в середине нос. Рот под носом, уши по бокам. Так устроено у всех людей, азиатов и африканцев. То же самое видим у кошек, у собак, у жирафов и львов. Сколько ноздрей у слона? У слона длинный нос, но ноздрей у него тоже две. Устройство лица животного в целом то же, что у человека. То же у птиц, насекомых. Бывают отличия, но в большинстве своем все одинаково. Большинство живых существ ест ртом. Что подтверждает нам этот факт? Дамы и господа! Этот факт подтверждает, что мир создан единым творцом по единому замыслу.

Погрузившись в роскошь готовых цитат, Плюша занялся эстетством: выделял «о» в слове «ибо», вместо «это» и «эти» совсем перешел на «се» и «сии» («о чем говорит нам сей факт?»), а в таких оборотах, как «ходить на чреве своём», пользовался исключительно «е» – своим, говорил Плюша, и с удовольствием всех зверей называл гадами.

Сегодня с вами произойдут великие чудеса. Надеюсь, что те, кто еще не получил ответа на свои молитвы, получают его сегодня. Бог решает проблемы в семьях и на работе. Вы хотите стать богатым человеком? Хотите славы? Власти? Здоровья? Или, может быть, знаний? Или чтоб ваши дети добились многого в жизни? Для Господа нет ничего невозможного!

Да, ничего невозможного не было – как раз такой текст стоит давать начинающим переводчикам для укрепления веры, когда они бьются, что это в принципе невозможно, переводить синхронно, когда шушукаются (и не вполне исторически точно), что синхронный перевод придумали коммунисты, в Ш-м Интернационале, а в Лиге Наций переводили последовательно... Одним словом, текст – наливай да пей, – но и тут оказалась своя специфика. «Если ты, сволочь, еще раз переведешь евангелизационную кампанию как крестовый поход, я задушу тебя», – безо всякого выражения и акцента сказал кореец-евангелист доктор Ли. С каждым новым сломанным костылем, с каждой парой очков, хрустнувшей под каблуком прозревшего, с каждой вандализированной инвалидной коляской приходила мысль – на какие шиши? На какие шиши исцелившимся завтра все это вернуть? А они все перли и перли на сцену... Может, платит телеканал? Но зачем? Жертвуют эти же люди? Он с сомнением глядел на них в прорезь окошка

кабины – что с них взять? Они согласились-то только затем, чтоб нахалюва сюда прилететь из убогих своих городишек, чтоб погулять, поглазеть, поваляться в гостинице... На улице раздавали билеты бесплатно – Муравлеев видел, подростки хватают билеты, не веря счастью попасть внутрь «Мэдисон Сквейр Гарден» ни с того ни с сего, задарма. Во что же все обошлось? Или это городские власти вносят в бюджет тала-мероприятия по укреплению нравственности? Уму непостижимо. А и не надо, чтоб было уму постижимо, – вдруг разозлился Муравлеев, слушая, как Плюша, на секунду оставшийся без цитаты, заплетается «...и другого имени нету... такого, чтоб было данным... такого, чтоб все мы могли спастись...», теряя не только ибо и се, но и следующую фразу. – Занимайся своим непосредственным делом! Сиди и стыдись, что на память мы ни шиша не знаем!.. И без труда тут же вспомнил: не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены.

Но и это его настроение в формуле «деньги-товар» сосредоточить внимание на штрихе, делать дело и перестать бесполезно гадать, где учился пастор церкви Манмин Джуанг-анг из Сеула – настроение быстро прошло, усыпленное ритмом работы: «Я был свидетелем многих случаев исцеления в Конго – Уганде – Кении – Филиппинах – Индии – Гондурасе – Перу – и РФ». Стало уже все равно. «Когда я провожу служения за рубежом, Бог воспринимает факт прихода на них как доказательство веры и исцеляет пришедших. Властью Божьей рассеивается тьма, и люди исцеляются от рака, СПИДа, трофических язв, бросают курить...» Да, кстати. Муравлеев кивнул Плюше, что отойдет.

Но еще один раз их все же побеспокоили. Подошел кореец повежливей и попросил: «Больше чувства!»

– Что?! – вскричали Муравлеев с Плюшей.

– Больше чувства, – умильно сказал этот новый кореец, сложив руки и кланяясь в намастэ. – Служба вещается на Дальний Восток в прямом эфире, надо не «аллилуйя, хвалите господа», а вот так: «Аллилуйя! Хвалите Господа!»

Плюша с Муравлеевым переглянулись. Нашел лохов! «При переводе отсутствие интонации, – могли, разбуди их ночью, продекламировать оба, – предохраняет от сглазу, от порчи, от типуна на язык, от болезней рассудка и, в особенности, от стыда». Над головой, разъясняющей, как культивировать ровный машинообразный гул, какой вы никогда не услышите в жизни, а только в дублированных боевиках, еще, помнится, был эпитафия:

*Ибо раз голос тебе, поэт,
Дан, остальное взято, —*

(знаменитый автор учебника, Кобылевин, любил выразиться цветисто), и Муравлеев с Плюшей (не очень хорошо учившиеся, но уж что вдолблено, то вдолблено) свои права знали: голос в контракт не входит. Не продается.

– Представляешь, сейчас над Дальним Востоком, нашими голосами... – развеселился Плюша. – Вот бы Димитрий здесь развернулся!

Всеми любимый юридический и добросовестнейший переводчик, Димитрий бы именно развернулся, – вдруг отчетливо понял Муравлеев, – и пошел бы домой. Он же верующий человек.

После этого случая Муравлеев совсем посерел, весь зарос какой-то паршой, нехватало, видимо, витаминов, редко (только на пересадках) бывал на солнце. И все же зима в корчах таяла, тут же, практически на полу, замечал Муравлеев, глядясь в лужи чужих ботинок, лужицы шелковых галстуков, озерцо ноутбука, где все четче на дне прозрачного водоема выри-

совывался устав и учредительный договор, которые он уж с неделю таскал с собой на все заседания в надежде поработать в перерыве. Тем более общество регистрировалось на Кипре, в Никозии, а там-то уж точно весна, и оттуда должно быть намного удобней управлять деятельностью дочерних предприятий, консультировать их по вопросам разработки и обустройства нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений, осуществлять научно-методическое обеспечение участия в конкурсах на получение права пользоваться недрами и делать многое другое, чем собиралось заняться молодое общество.

Между тем приближался прощальный вечер, на котором особенно трудно читать, делегация бродит, цепляясь за подвернувшиеся стулья в стремлении сохранить душе равновесие. Сесть бы ей, сесть бы за стол, а не циркулировать ей с бокалом, удерживая весь свой нелегкий духовный багаж на весу! Что за странная здесь манера, пригласить, подать мягкие, маркие, жидкие блюда и поставить три шатких столика – на сорок-то человек?! Принимающая сторона то затевал всем опять представляться, то... было видно, он ждет. Он смотрит и ждет.

– Что же делать? – спрашивали у Плюши.

Как «что делать»? Не надо окопов. Змей не надо. Кефира. Трехчленных таких анекдотов, где *a* – у меня вилла, машина, жена, любовница, *b*- у меня две виллы и две любовницы, и, соответственно, *c* – вилы у меня одни, но сплю я со всей деревней. Вечная вариация на мужика, прокормившего двух генералов... Хорошо, а что надо?

– Они хотят, чтоб вы пили водку.

– Так что же делать?

– На вашем месте я пил бы водку. Я и на своем сейчас выпью.

– А что говорить?

– Как «что говорить»? Хвалить им.

– Что хвалить?

– А вы не догадываетесь?

– Ну вы бы хоть намекнули.

– Значит так, – деловито сказал Плюша. – Во-первых, вот мы все думали-думали, страна небоскребов, каменные джунгли, а тут природа такая красивая! И так берегут ее! Запомнили? Во-вторых, да, конечно, нам до такого уровня компьютеризации пока... Дальше, третье, и это желательно со слезой: демократия-то какая! (Я конспективно, вы сами придумаете.) И последнее, основное, богатство страны – ее люди. Ну, тут можно по-разному. Можно такой же троп, как с небоскребами: дескать, был стереотип, стереотип оказался неправильный, ну, толстосум там, работоголик, дядя Сэм, господин из Сан-Франциско, тридцать два зуба, ноги на стол... Только не переборщить... Пожалуй, так лучше не надо. Просто скажите, принимали как дома, симпатичные, милые такие, совсем почти не жадные... Вот еще, забыл: у нас общего больше, чем разного. Это обязательно.

Но вместо какой-никакой благодарности уже до самого конца на него смотрели, как на гадюку в траве. Не раз порывались сказать что-то доброе, теплое на прощание, спикера выдвинули, но... случайно задевали взглядом Плюшу и только плевали. Да, отравил он им всем поездочку.

Правда, телегу потом накатали на Муравлеева, они их не очень-то различали, то один, то другой покурить из будки, а голос тем временем льется, и все время один и тот же. Без чувства. Запомнили только, что один был вроде поприветливей, как-то даже сказал, что в «Волмарте» то же говно, но дешевле, а другой все книжки, сволочь, читал... И это правильно. Муравлеев даже ничуть не обиделся. А то это не сближение двух народов, а какое-то... разобщение двух народов.

Со своей стороны, Муравлеев доделал все до конца, вплоть до просмотра последней метаморфозы, происходящей с ними в аэропорту. У стойки, где он с ними прощался, стоило сдать багаж, как с лиц их мгновенно сползло то сахарное выражение, с которым они всю неделю таскались по улицам города N, семенили за принимающей стороной, выслушивали доклады, восхищались в музее, благодарили за теплый прием, пропускали вперед себя дам и вели интересные разговоры. Все наивные каламбуры, анекдоты и детская впечатлительность (мы же впитываем, как губка!) сдавались там, в чемодане. Едва отвернувшись от стойки (обошлось кое-как с перевесом, уже гора с плеч), они разгребали толпу с совершенно иным, искаженным лицом, какого Муравлеев, проведя с ними неделю, не узнавал. Брезгливо крича бывшей даме: «Смотри куда прешь!», мыслью и разговором они находились уже далеко отсюда. «Ну что, отдохнул?» – говорил вдруг один другому, и голос Муравлеев тоже не узнавал. Одновременно будничным и глумливый, он так менялся интонационно, что Муравлеев не то что голос, почти не узнавал язык, будто тот вариант, что подсовывали на перевод, в реальности адаптирован для средних школ автономных республик. «Отдохнул пора на работу?» – продолжал этот новый, глухой как из бочки, голос, и другой, тоже неузнаваемый, не то что с почтением, лебезя, заискивая, нет, с простым откровенным страхом отвечал: «В принципе все готово». Глупо, но отчего-то страх передавался Муравлееву и, спеша себе объяснить (у людей своя жизнь, накопилось столько всего за неделю, пора включаться в рабочий режим, пора – а как вы хотели? – вернуться к нормальным иерархическим отношениям после недели каникулярного, демократического панибратства), продолжал подслушивать, не столько стремясь разведать их тайны, сколько из лингвистического любопытства – хотелось все-таки знать, как этот язык звучит в оригинале. «В понедельник, значит, летишь, там все должно быть нормально. Пятипалов, конечно, упрется, но если чего, совет ему яйца вырвет...» Тут они замечали, что рядом Муравлеев слушает так, как сосед, полезший чинить проводку, прилипает намертво к батарее, и никаким усилием воли отцепить ее от себя, оттолкнуться уже не может. Лица их опять мгновенно менялись, снова приобретая прежнее приторное выражение, однако теперь как будто чуть-чуть ото всех леденцов начинает нить зуб, и как будто хотели сказать: ну, чего тебе, мальчик? А-а-а, попрощаться! Ну что ж. Передавать привет отечеству? – и, так как эта последняя метаморфоза была самой непрочной, едва обозначенной, тут же она расплывалась, и последнее слово произносилось уже предыдущим – глумливым и страшным – тоном. Однако, спустя полминуты Муравлеева вдруг догоняли и молча совали ему зажигалку с надписью «Сто лет г. Боровичи», а также хлопали по плечу.

Случалось такое и в парикмахерской, где он был последний клиент, за окном сгущалась зимняя тьма, Муравлеев, замотанный до подбородка, в том полубомороке безволия, когда берут за ухо, поворачивают за подбородок и к горлу подносят бритву, а ты всему отдаешься, смотрел приготовления к ночи. Смотрел будто не изнутри парикмахерской, а снаружи: в освещенной витрине, словно на сцене, вспархивали плащи, это звезда парикмахерской, бледный и стройный гей, весь в черном, взмахивал простыней, чтоб стряхнуть с нее волосы; очаровательная статистка из глубины к просцениуму мела метлой; пожилая усталая дива, одетая с тем же черным минимализмом, великолепно поставленной сценой движения красила в зеркале губы – так, что движения не мельчились, а доходили красиво и внятно до зрителя на противоположной стороне улицы; маститый гобсек за кассой считал купюры. Крепыш в черном свитере, стригший Муравлеева, тоже молчал, тишину парикмахерской нарушал лишь вечерний звон – грустный гей опускал инструмент в тазик с дезинфицирующим раствором.

– Во, – говорил вдруг гей, приподняв и показывая зажим, – Это пора бы выбросить.

Благообразная парикмахерская преображалась. Вдруг выяснялось, что все в ней говорят на муравлеевском языке, и, торопясь расшнуроваться из корсета дневной мучительной речи с

клиентом (а деспотичный гобсек требовал не молчать! гобсек требовал впаривать средства от перхоти и рассуждать о бейсболе), задолдонили все, задолдонили разом: крепыш объяснял, как хитро он сейчас поедет, минуя все пробки, «жадный такой», жаловалась статистка, «смотри не заработай чего», двусмысленно ей отвечала ехидная дива. До последней минуты немая до звона ножниц в ушах, парикмахерская оживала, и, странное дело, их лица, их руки и ноги изменялись от этого так же, как в переводе меняется текст. Дива щелкала сумочкой, убирая помаду, и на него смотрела теперь продавщица сельмага, помада впиалась в морщины у рта и по ним ручейками пробиралась все дальше и дальше, гобсек запах лекарствами, а статистка едва застегнула на толстой икре сапог. Достаточно еле заметного сдвига языка, ложающегося поудобней, и вокруг все необратимо меняется.

– За что люблю свою работу, – покойно разглагольствовал Муравлеев, распивая на кухне у Иры чай, – никаких устойчивых связей, интриг, продвиженья по службе, нынче здесь, завтра там, дают бери, бьют беги, а при письменном переводе я многих из них никогда не увижу. Конечно, за это я делаю скидку, но, согласись, эту льготу можно вполне приравнять к медицинской страховке.

– И что ты все ездешь? – вставил тут Фима. – Сидел бы дома, переводил по судам.

Муравлеев хотел сказать правду (от этого я спячу), но постеснялся и только ответил:

– Жаба душит.

И, вспомнив, что завтра как раз очень рано вставать, поднялся, поднял свой портфель... но поднял неудачно, вниз головой, и все разлетелось по кухне, Фима что-то схватил и громко прочел:

– Апастьль!.. Что это? – в панике выкрикнул он.

– Что ты, ей-богу, просто бумажка, – проворчал Муравлеев, засовывая белорусские свидетельства о рождении назад в папку и ежась под фиминым взглядом, пронизанным болью за друга. Фима молчал, но лучше б уж он разразился пламенной речью, что есть миллионы занятий, должностей (которые Фима называл «позициями», как в балете), можно устроиться, что-то придумать, нельзя же вот так... сплошной апастьль. Даже молча Фима звучал как с амвона: переквалифицируйся, Муравлеев! Но, поняв, что не убедит, не исправит горбатого и не напоит голодных, Фима, как вечный скитающийся Дон-Кихот, ушел к себе в спальню и вернулся с часами:

– Вот хочешь, возьми. У меня лишние образовались.

Муравлеев, не имевший плебейской привычки носить часы, объяснил:

– Спасибо. У нас это как-то не принято. Ведь часы нам почти без пользы, мы считаем время в других единицах. То есть, можно, конечно, пользоваться и часами, но неудобно, как мерить простуду фаренгейтовским градусником.

Открытие Курта Левина подтолкнуло его к другому, не менее важному, открытию. Однажды он почувствовал, как почва уходит у него из-под ног, и он проваливается в бесконечный туннель. Дна, казалось, и не предвидится, снаружи никто ничего не заметил, и Муравлеев решил не тратить зря время на панику, а подумать как следует – может, это как-то и переводится. Когда, неизвестное время спустя, он вынырнул из туннеля с нужным словом в зубах, никто не удивился паузе – никто даже не пошевелился, за это время ничто в так называемой действительности не изменилось, не было произнесено ничего нового, все будто замерло ровно в той точке, в которой он их покинул. И тогда Муравлеев понял, что время, проведенное в туннеле, снаружи не засчитывается. Постепенно, попав в переплет, он стал безошибочно находить то место, где подается почва, удалившись куда можно не торопясь все обдумать, пока – главное не поддаваться инстинктивному страху – ты проваливаешься, проваливаешься и умираешь тысячею смертей. Продолжалось все это ровно секунду, сколько бы времени ты ни бол-

тался в туннеле, и наконец-то стало понятно, *как* они все переводят – провалившись в секунду, можно найти единственно верное слово, полистать словарь, поработать над фразой, все хорошенько обдумать, а еще – почему из кабины выходят как пьяные. Со временем он стал секундой злоупотреблять. Уже не на слова, не на фразы, не на осмысленные их речи он тратил туннельное время, он сразу юркал туда и дальше переводилось само, а Муравлеев летел в безнаказанном и безвоздушном пространстве, где не зазвонит телефон, не вспомнится срочное дело, не кончится выходной, не встрепенется с детства заложенное, как бомба, «что же это я сижу и ничего не делаю!» – эта ложка дегтя в бочке меда подаренной нам бесцельной, бессмысленной жизни. Там, пока все снаружи стояло на прежних местах, удавалось пройти бесконечно длинные мысли, на которые никогда не хватило бы времени *в жизни*, и, оглядываясь вокруг себя, он стал замечать, что не только коллеги в поисках нужного слова, а независимо от профессий – губернаторы, судьи, официанты, приемщица в химчистке – многие люди при исполнении обретаются вовсе не здесь. Заметить их было легко. Блудника, говорит Толстой, можно узнать по лицу, как пьяницу, как морфиниста.

В судах же (отчего он решил когда-нибудь спятить) в секунду беспардонно вторгались. Очередной бесплатный адвокат, круглый, жирный, чисто промытый, часто встречался с Муравлеевым насмешливым взором – ни дать ни взять два приятеля, заглянувших после службы в бордель. Вывели арестантку. Она вышла сонная, злая, и казалась кривой, косой, полупьяной, косноязыкой – язык застревал у нее в зубах.

– Прокурор предлагает непреднамеренное убийство, – с энтузиазмом сказал адвокат. – Пять лет.

Она засмеялась, посмотрела ему в умные глаза, уже не кривая, не косая, не сонная и не пьяная, и сказала, что хочет процесс.

– Зачем? – спросил адвокат. – И, вообще, – кивнув на приятеля, – говорите по-своему, вам тут переводчика вызвали.

Она сделалась кривая, косая и шепелявая, дернула плечами, заведенными за спину (руки сзади в наручниках) и принялась голосить, но встретила с муравлеевским взглядом, опять потеряла кривой и косой задор и спокойно сказала:

– Здравствуйте.

Повернулась к адвокату и так же, спокойно и улыбаясь, повторила:

– Зачем? Зачем мне переводчик. Объясните мне это.

Вместо того, чтоб честно ответить: чтоб тебя, дура, мучить, чтоб ты взяла себе эти пять лет и оставила меня в покое, – он сказал так:

– На процессе это будет непреднамеренное с отягчающими обстоятельствами, что по раскладкам то же преднамеренное, можно запросто получить двадцать пять.

– Так сделайте так, чтоб я не получила двадцать пять. Вы же адвокат, не я.

– Не надо было делать полиции противоречащих одно другому заявлений. А то сначала вы поехали к Джонни, а потом и не к Джонни вовсе, а к его сестре...

– Я не убивала Джонни, – сказала она монотонно.

За восемнадцать месяцев в предварительном заключении она привыкла на эту тему не бесноваться, не рыдать, не объяснять, не доказывать, не настаивать и уговаривать, а откровенно скучать. Тема надоела.

– Я теперь не плачу, я теперь смеюсь, – объяснила она Муравлееву.

И, действительно, смеяться ей как-то вроде более свойственно – закидывать голову, обнажая нежную, тонкую, сметанную шею и запрокидывая огромную копну волос, схваченных в черный хвост со свежей, густой сединой, ровесницей сроку отсидки, как мужская щетина – ровесница отпуску или запою. Когда смеялась, язык переставал застревать в мелких жемчужных зубах, его не путал больше бес иной речи и борьбы за свое достоинство с надзирателями,

конвоем, однокамерницами, одноблочницами, когда не следует ничего просто говорить, следует цедить сквозь зубы и сплевывать, кривляясь и кривясь всем телом.

Глаза – крупный южный изюм, хотя, если взглядеться, зеленые. Лицо в тюрьме не разбухло: не круглое, не овальное, а как-то более сложно и внимательно вылепленное, чтоб было красиво и необычно, а не просто лицо приделать.

Адвокат рассказал ей, что она сделала:

– Джонни решил вас уволить, что вас разозлило и расстроило.

Она сделала досадливый жест, но он перебил жест.

– Есть свидетели.

Она засмеялась, запрокидывая голову.

– Ваши же отношения с Джонни, как вы мне сами сказали, не вписывались в рамки строго служебных.

Хмыкнула презрительно, но в то же время и одобряя ход истории.

– Итак, вы поехали к нему, открыли дверь своим ключом... А ключа не было ни у кого, кроме вас и Джонни. И Джонни, как все знают, человек очень замкнутый.

(Джонни – наркодилер? – догадался Муравлев.)

– В доме никого не было. Вы...

– Я достала из холодильника пиво и шампанское, – вдруг оживленно включилась арестантка. – Включила телевизор, выпила... Я вообще пришла к нему отдохнуть. Я *так* туда приходила.

И лицо ее на минуту стало мечтательным, а потом на него легла тень. Красивый лоб прорезала морщина.

– А потом решила постирать.

И торопливо добавила, не дожидаясь расспросов:

– Я у него всегда стирала... Пошла в подвал, а он там лежит.

– Но почему, почему вы вообразили, что обвинят вас?! Я вот, например... Представьте, что я пришел...

– Объясняю же, я была пьяная, – ответила она дерзко и шепеляво. Язык опять попал в ловушку.

– И тогда...

– Да, и тогда, – перебила она заносчиво, – я пошла и выпила еще. Много. И поднялась наверх, легла в его постель и заснула.

Она не продолжила. Ей хотелось бы, чтобы на этом месте и вообще все остановилось. Или хоть на какое-то время остановилось. Побывать там еще... Но нет:

– А потом вы проснулись, – сказал адвокат голосом гипнотизера, и она проснулась к рассказу, который теперь не склеивался. Оставалось только кроить заново.

– Я приехала за машиной. Мою белую поменять на красную, которую он мне отдал. Позвонила механику, механик сказал, что будет готово после часа. Тогда я открыла холодильник, там пиво, шампанское...

– Вот-вот, – удовлетворенно сказал адвокат, – опять по-другому рассказываете?

Она взорвалась:

– Опять двадцать пять! Опять «по-другому»! О, боже! Боже! Вы же меня не слушаете! В тюрьму ко мне не ходите. Материалы дела со мной не обсуждаете. Какой вы адвокат, если вы ни разу меня с начала до конца не выслушали!

Злилась, но говорила чисто и внятно. Адвокат повернулся к Муравлеву, на всякий случай. Хотя сказал как бы ей:

– В тюрьме я у вас был. Все, что вы меня просили проработать, я проработал. Вы обещали, что сын даст банковские бумаги, где сын?

Она молчала, позволяя вопросу раствориться, сделаться риторическим довеском, но не тут-то было:

– Где сын?

– Не знаю, – ответила она резко. – Вся беда в том, что некому мне помочь.

И, как белогрудая птичка, отводящая подозрительных от гнезда, сексуально пришепечивая «боже, боже!», откинулась назад, откинула великолепной лепки лицо и волосы с седой-ровесницей непредумышленного убийства.

(«Где сын?», – скажет она Муравлееву, когда адвокат на минуту выйдет. – Он мой адвокат, но я его боюсь. Откуда я знаю, что у него на уме. Зачем я буду ему говорить, где мой сын».)

Итак, когда проснулась, время уже было ехать за машиной, так что поехала за машиной, и только потом, сильно потом, решила заехать к сестре, как-то сначала хотела сказать, а потом решила, что пусть лучше они вместе съездят к Джонни домой и как бы вместе найдут труп. И они поехали, и вместе нашли труп, и вместе вызвали полицию, но дальше уже все не вместе.

– Одним словом, я вам предлагаю так, – резюмировал адвокат. – Вы пришли озлобленная тем, что Джонни вас увольняет... Кроме того, он же сказал, что там будет новая девушка и просил вас ее обучить, ведь так?

Она засмеялась презрительным грудным смехом. Муравлеев взглянул под стол, где стояли ее ноги в плетеных сандалиях, скрепленных цветными ленточками, одна зеленая, другая красная – разваливаются сандалии. А если ей дадут двадцать пять лет? Хотя там, конечно, казенные...

– Джонни не увольнял меня. Я сама решила уйти. Он мне надоел. Мне все это надоело.

– Но есть свидетели, которым он...

– Ему было просто неловко. Все знали, как хорошо он ко мне относится. Все для меня делает. А я все равно уйду, потому что он мне надоел.

И она пристально, соблазняяще посмотрела в глаза адвокату, и настала ее как бы очередь крикнуть: а потом вы проснулись!

– Тем лучше! – встряхнулся адвокат. – Тогда предлагаю так. Вы пришли, он начал к вам приставать, вы сказали нет, он не понял, вы стали защищаться, превысили... То есть вот, собственно: превышение необходимой самообороны в ответ на сексуальные домогательства... А перчатки ваши резиновые, которые там нашли – ну, в которых вы работаете...

Она распрямляется. Она и кривится, собственно, оттого, что затекают сведенные на спине руки, а время идет, капает в бесполезных разговорах, и надо экономить силы, чтобы распрямляться в самых ответственных местах. Как вот это. Чтоб из глаз искры брызнули. А брови у нее, между прочим, выщипаны тщательно, ювелирная работа. Тоненькие черные брови, а под ними – выщипанная синева. Что еще делать в тюрьме? Наверное, щипать брови и вплетать в сандалии ленточки... Тут выяснилось, что Джонни – не романтический герой. Совсем. Она искрила и фыркала, как кошка.

– Пффр! – сказала она презрительно. – Я молодая здоровая женщина, неужели вы думаете, что он – инвалид – мог сделать со мной что-то, чего я не хочу? И потом, почему в подвале? Или я – животное, чтобы ко мне приставали в подвале?

– Но вы же сами..., – оправдывался адвокат.

– Да. Но не в подвале. И не насильно.

– Так вот я же и объясняю: вы решили уйти, все, покончить с этим, а Джонни пустился к вам приставать, вы стали защищаться.

Она запрокинула голову и засмеялась. Отсмеявшись, заявила:

– Нет. Это неправда. Я этого говорить не буду.

И забормотала что-то про себя, где разобрать можно было только «неживотное», множество раз.

– Что это вы его так защищаете? – с искренним недоумением поинтересовался адвокат.

А она и не его вовсе. Джонни, значит, инвалид, а она – надомная уборщица (резиновые перчатки), но не животное, нет, и что деньги переведены (всего-то тысяч пять-шесть) – это старая задолженность, он сам и перевел, а машина – что машина? Он мне ее отдал, подарил. Как обещал. (Да и машина тоже, по-моему, дрянь).

Его задело «неживотное», он что-то при этом почувствовал и, чтоб осадить ее, упомянул вдруг монтировку, разбитую голову и стены подвала, забрызганные кровью. Она же смотрела на него равнодушно – туда, куда его доставало «неживотное», ее не доставала кровавая монтировка. Когда вышла в зал суда, не смеялась, не запрокидывала голову, но и не кривилась и не шепелявила. Просто сидела.

– Какая гадость. Какая гадость приехать за тысячу верст, чтоб хлебать... вот это.

3

Началась страшная метель. Он то въезжал в горку, то спускался, и наверху каждый раз шел то дождь, то снег, то плещущая в стекла грязь, а внизу всегда лежал туман. Где-то здесь, в тумане, ютился, наверное, домик Матильды, но об этом еще рано думать. А так пока что ж – случайно заехал в какую-то глушь перевести депозицию про клевету.

Явились две разряженные пары, маленькая смотрела только в пол, мужчины по сторонам, лишь бы не друг на друга, тетка в костюме с меховым воротником – на маленькую, и не оставалось никаких сомнений, что плюнет, если улучит момент, разве что адвокаты смотрели, не отворачиваясь, и практически сразу и маленькую, и Муравлеева завели внутрь. Она ему очень понравилась. Все началось, рассказывала она, с того, что она устроилась уборщицей. В первый же раз, убирая предбанник, услышала разговор за дверью: «У нее что, мужа нет? Я не послал бы жену на такую работу». Что дальше? – спросил адвокат. Я заплакала, сказала она, села в машину и уехала. Вы хотели... уволиться? Нет, я хотела посмотреть жену. Зачем? Ну, какая это жена, такая цаца. И что, посмотрели жену? – спросил тот, не скрывая насмешки (Муравлеву захотелось дать ему по морде и спокойно отметить: вопрос не по существу). Я знала, знала, – рыдая, ответила маленькая, – я знала, что нехорошо дружить с его женой, но он говорил мне: «Я так люблю, когда ты бываешь у нас. Я сразу весь успокаиваюсь». Они так плохо жили, но я же ничего не рассказываю, что он мне сам рассказывал, это только он рассказывает, что я ему рассказывала. А я так не хотела с ней дружить! Она сама набивалась ко мне в подружки.

Он попытался представить, как все это было. Как каждую среду (он машинально пошарил глазами, а где же собачка) в течение пяти лет она приезжала в один и тот же мотель, брала ключ, шла по коридору. Не знаю, как встречал ее тот, но я бы сидел нарочно спиной, редактировал текст, мечтая про Кипр, делал вид, что совсем не заметил, как щелкнула дверь – лишний раз насладиться, что каждую среду, пять лет, как бы я ни сидел и о чем бы ни думал... Когда развязный адвокат спросил, а удовлетворял ли вас господин Чалочкин в постели, дама без собачки задумалась. То есть она, как ребенок, всерьез задумалась, стала припоминать и анализировать, а, действительно, удовлетворял ли, и когда, внутри всех своих членов, вспомнила, стала опять думать, как бы это получше выразить, будто спрашивал не адвокат, а человек.

– Я всегда понимала, – наконец, отвечала она, – что мой муж на голову выше Якова. Что как человек он гораздо лучше, достойней, понимаете? К сожалению, он уделял мне мало внимания. Как он потом объяснил, не умел показывать чувств. Яков давал мне то, о чем мечтает каждая женщина. Мы встречались не только, чтобы... для секса. Как мужчина, он не был особенно..., – дама замаялась, – во всяком случае, муж гораздо...

Врет! с негодованьем подумал Муравлеев.

Она давала ему много ценных советов, так как в вопросах практических была гораздо умнее его. Помню случай. Однажды в поисках нужной бумаги девочки не оказалось, и он перевернул ее стол. Когда секретарша вернулась, он извинился, что пролил кофе. Кофе-то бог с ним, – сказала она, – но вот часы вы мне разбились. И хорошие были часы? – поудобней устраиваясь, переспросила тут дама его, без собачки. Он взорвался: я что, разбираюсь в часах? Она же как раз разбиралась в часах, в ботинках, учила его, как вести себя с сыном, он рассказал ей и то, что когда его будущая жена пригласила его показать подружкам, ему дали открыть какую-то банку, он покрутил и вернул: «Я таких открывать не умею». Подруги ей тут же сказали: неужели ты не замечаешь, что он прикидывается мудаком? Даже ненатурально. Зачем бы? – спросила она.

Как зачем? Не хочет жениться! Но я не прикидывался, – объяснял он потом, в мотеле, и она вздохнула: лучше бы он прикидывался. Семену сейчас тяжело, и она не могла его бросить, она понимала и то, что у него самого не та сейчас обстановка, чтобы уйти: трагедия с сыном спаяла его с женой, им идти сейчас нужно в связке. Может быть, жена полужнала об их романе. Его беспокоил мениск, ложиться на операцию он боялся, не самой операции, а простоя, его предупредили, что несколько месяцев он не сможет водить, и он опасался, что будет с бизнесом, если он, пусть короткое время, считай что прикован. Она не понимала, почему он не хочет нанять шофера, и в чем бизнес, старалась особенно не вникать, она очень недолго там мыла предбанник, и что-то ей говорило, что с этим он справится сам, там не часы, не ботинки, не банки, а природный дар Якова в сложных цепочках, в немыслимых алгоритмах сразу выбросить лишние звенья, те, с которыми он не умел, как с консервным ножом.

Ему казалось, уже довольно давно его голова покойно лежит на коленях у этой женщины, он слышит их голоса уже как сквозь вату. Нехватало заснуть за рулем! Он скрутил стекло и зажег сигарету. Стало холодно. Печку. Сделалось жарко. Радио. Скучно.

Когда же кончится эта дорога! В ветровом стекле курились клубы снежного дыма, машины то и дело всплывали вверх пузом в фонарном молоке. Текучая тьма вдруг останавливалась скопищем красных глаз, шоссе превращалось в парную, и лишь впереди мерещилось голубое мерцание. Но в тот момент, когда, перебрав все догадки, Муравлеев решал, что это душа Джона Донна, выяснялось, что мерцание исходит от снегоуборочной машины, перегородившей густой, медленный ток машинной лавы. Все движение сосредоточилось теперь на одной колее, по которой след в след, одна за другой, осторожно ступали машины. Он вспомнил, что есть ближний ад, дальний ад и ад одиночества. Первые два – это местности или миры, последний – только области, спонтанно возникающие где угодно, и в такую область можно попасть при жизни. Он нередко свисает клочьями с дерева, как гнездо, и, сунув руку, вынимаешь ее холодной и влажной, а на дорогах лежит в низинах, куда попадаешь, спустившись в туман.

Она уже спала, когда ее разбудил пришедший с работы муж. Волосы у него на голове буквально стояли дыбом, как наэлектризованные, и он был совершенно белый, будто увидел привидение. Как выяснилось позже, он именно увидел (точнее, услышал) привидение, а потом только узнал об измене, и в тот момент первое произвело на него более сильное впечатление.

Умная в практических вопросах женщина (но Муравлеев сразу все понял, подсознательно ей хотелось, чтобы все это как-нибудь кончилось) опаздывала на работу. Она все-таки сняла трубку, уже после того, как включился автоответчик, и разговор записался на пленку. Стирать запись не было времени, она подковырнула кассету ногтем и перевернула ее на другую сторону. Вечером, после долгой, изнурительной дороги, вернулась и сразу легла спать. Чуть позже домой пришел муж Семен. Снимая пальто, он машинально нажал на кнопку автоответчика и ошеломился. Приятель, которого похоронили полгода назад, как ни в чем не бывало договаривался с ним о рыбалке. Семен покрылся холодным потом и присел на пуфик тут же у телефона. «Все-таки, – вдруг подумал Семен, – он тупой, непроходимый идиот. Я тогда еще сказал ему: сеть оставь дома. И все равно все могло обойтись, если б он не принял в последний момент мыть машину прямо из реки. Тут как раз и подъехал патруль». Тут же Семен опомнился, сам заметив «тогда еще», вскочил с пуфика, влез в автоответчик, перевернул кассету и прослушал уже другие голоса.

А Муравлееву хотелось и дальше смотреть фильм, который закончился. Он-то думал, что фильм про любовь не может больше его взволновать. Но вот что значит хороший режис-

сер: отыскал, где Муравлеев слаб, романтичен, и нагло так, цинично ущипнул его за это ахиллесово место. Муравлеев раскачивался на холмах вместе с метелью и беззастенчиво мечтал о вечности. Уходя, он взглянул на мужа Семена («Я уважаю его как человека. Он целеустремленный, трудолюбивый, отдыхать вообще не умеет. Возьмет выходной, кофе попьет и сидит за столом. А потом вспомнит что-нибудь, оживится и бегом на работу») – и в глаза ему бросились уши Каренина. У Семена, однако, они были губы (ведь уши Каренина существуют в огромном числе деликатесных своих разновидностей), два способа их кривить: первый (например, когда он ел суп-харчо), складывать их поудобнее в знак довольства, и второй, когда что-то коробило (скажем, курящая женщина). Стоя в роддоме с цветами, стоя условно-досрочно, так как всем уже было известно, как она нашкодила, и оттого не решаясь гулить, ворковать и тянуть руки со всеми, молча отметила, что у новорожденной племянницы, еще не научившейся орудовать такими непомерными губами, они заваливаются на сторону. Борьба с клеветой («Как он мог! Как мог! Пять лет, плача, боготворил меня!») объединила их так же, как Якова объединил с женой сын-героиноик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.